

Оленьи края

Маремьяна Голубкова
Николай Леонтьев

Маремьяна Голубкова
Николай Леонтьев



Оленьи края

Маремьяна Голубкова

Николай Леонтьев

ОЛЕНЬИ КРАЯ

ООО «АЛЕКС ПРИНТ»

Воронеж

2023

УДК 891.71-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Г62

Голубкова, Маремьяна Романовна, Леонтьев, Николай Павлович.

Оленьи края: повесть / Маремьяна Голубкова, Николай Леонтьев – Воронеж: ООО «АЛЕКС ПРИНТ», 2023. – 300 с. : 22 ил.

Автобиографическая повесть «Оленьи края» М.Р. Голубковой и Н.П. Леонтьева рассказывает о событиях 1944 года, когда авторы в составе отряда исследователей участвовали в поиске и разведке нефти в Большеземельской тундре. Повесть публикуется в редакции 1947 года, которая сохранила красоту локальной народной культуры и колорит повествования печорской сказительницы. Книга будет интересна широкому кругу читателей.

ISBN

Редакторы Вергунова Е.И., Чечуева Н.Ю.

Выпускающий редактор Вергунова Е.И.

Иллюстрации Селиверстовой И.М.

Макет ООО «АЛЕКС ПРИНТ»

Все права защищены

© Ирина Селиверстова (иллюстрации), 2023

© ООО «АЛЕКС ПРИНТ» (вёрстка, дизайн), 2023

6+

ПРЕДИСЛОВИЕ

Печерская сказительница и писательница Маремьяна Романовна Голубкова в содружестве с фольклористом, прозаиком Николаем Павловичем Леонтьевым создала несколько автобиографических книг, в которых судьба печорской рыбачки показана на фоне преобразований в жизни печорского края и страны.

В 1947 году была издана автобиографическая повесть «Оленьи края», позже ставшая частью трилогию «Мать Печора». В основу повести легли события лета 1944 года, когда Маремьяна Романовна в статусе повара и Николай Павлович будучи старшим коллектором входили в отряд Большеземельской экспедиции по поиску и разведке нефти.

Биография сказительницы, ставшая сюжетным стержнем произведения, позволила авторам показать историю и особенности жизни ненецкой тундры в суровые военные годы.

Повесть состоит из трех частей, каждая посвящена определенному этапу пути.

В повествовании органично сплетены описания реальных событий и фольклор жителей тундры - песни, сказки, поговорки, загадки. Причём читатель может встретить образцы народного творчества ненцев, коми, русских.

Вера Николаевна Белицер, советский учёный, доктор исторических наук, этнограф, полевой исследователь в журнале «Советская этнография»

(1948, № 4) пишет об «Оленьих краях»: «Язык повести красочный, живой, с богатыми сравнениями и эпитетами. Встречаются лирические отступления. Н. Леонтьев в своей обработке сумел сохранить индивидуальные черты и богатство языка, присущее М. Голубковой, не нарушив композиции и стиля повести. Особенно удачно даны картины северной природы: тундра в различные времена года, жизнь птиц и животных и т.д. Кроме чисто художественного значения повесть «Оленьи края» представляет большой этнографический интерес. На страницах книги даны правдивые картины из жизни северных народов — коми, русских, ненцев, — их костюм, жилище, средства передвижения, обычаи и семейные отношения. При этом авторы книги не проходят мимо тех огромных изменений в быту этих народов, которые произошли за время советской власти, и дают правильное представление о современной действительности. М. Голубкова не забывает сказать в своей книге и о народной мудрости, народной медицине, о певцах и сказителях, а также о многих других неистощимых богатствах народных. Большое внимание авторы книги уделяют новому строительству на далеких северных окраинах, новым городам, шахтам и заводам, новым советским людям — героям-энтузиастам, которые работают в суровых условиях крайнего севера. Книга «Оленьи края» проникнута глубоким патриотизмом, ненавистью к врагам советской родины, верой в силу народов Советского Союза и любовью к их вождю товарищу Сталину. Повесть «Оленьи края», как и ряд других произведений М. Голубковой, свидетельствует о большом художественном даровании автора и удачном сотрудничестве сказительницы и писателя в создании произведений художественной прозы.»

Книга, изданная в редакции 1947 года и являющаяся библиографической редкостью, ценна еще и тем, что, в отличие от последующих редакций, наиболее бережно сохранила

лексическое богатство, красоту живого народного слова Маремьяны Романовны. В книге, которую вы держите в руках, сохранена редакция 1947 года с неизменным текстом.

Повесть «Оленьи края» издается в год 130-летия со дня рождения Маремьяны Романовны Голубковой.

Нашему давнишнему шефу, по-горьковски ратующему за живое общение фольклора и литературы, — Всесоюзному Дому народного творчества, — посвящаем.

**М. Голубкова,
Н. Леонтьев.**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПО СЛЕДАМ СКАЗОК

1

Любят наши печорцы свою родную реку Печору, свои родные берега, свои широкие наволоки с сочными травами в лугах, с густым да высоким ольшаником, с ивняками такими, что в небо ввиваются.

Любят они море свое студеное. Потянет ветер с моря, воды подбегут и дорогой рыбы в Печору да в губы нагонят. А мы уж тут как тут: по край моря по всем шарам¹ да заостровкам у нас огнища да жилища, везде мы с неводами суемся, рыбу караулим. Куда мы ни приедем, везде свой берег, в любое место ляжешь, на любое сядешь, каждый кустик ночевать пустит. Недаром Печору из века в век рекой-хлебосолкой величают. Кто где живет, там ему и мило.

А еще любят наши печорцы тундру-матушку с частым ельником, с мелким березняком, с душистым багульником. Много по тундре рыбных озер пораскинуто, и в каждом озере рыбы — ключом кипит: в солнечный день глазом видно.

¹ Шар — проток.

Широка наша тундра-матушка. Выйдешь наверх — хребет от хребта глаз не секет, сопка от сопки вид не берет, а мшистые места и вовсе без края-берега. Рыбу лиловишь летом по тундровым озерам, ягоды ли берешь осенью по болотам, за день нахватаешься тундрового воздуха запашистого от морошечников да багульников, малинного духа напьешься — грудь полна и голова пьяна.

От правого берега Печоры тундра проходит на восток до самого Уральского Камня, а с юга чуть не от Усть-Цильмы да и до самого моря-океана. Укладывай версты тысячами — и все это будет та же самая Большеземельская тундра. По левому берегу Печоры опять другие тундры: Малая Земля, Канинская, Тиманская.

А за Уральским Камнем — снова тундры бесконечные. Туда ходят только ненцы с оленями зимовать да охотники с Ижмы, да с Усы, да с верховий Печоры. Мы, нижнепечорцы, тех тундр не знаем: далеко от нас Камены, и гостить туда нам спутья нет. И ягод, и рыбы, и песка, и оленей нам в своей Большой Земле хватает.

Вон, к примеру, племянница моя Серафима, сестры Лукеи дочь, за эту зиму семнадцать песцов да восемь лисиц, да не один десяток горностаев, да зайцев дивно¹ напромышляла. За хорошую работу каждый год она премии получает, а сейчас и медалью награждена. В Голубково Лукея — самая старательная колхозница, и живет она там лучше всех: она и куроптей в силки наловит, и сетки на обратном пути вытрясет, и сапоги деревенские сошьет, и обручья на бочки набьет, и сани изладит — ничто у ней из рук не выпадет. А у кого руки в деле гибки, тот и в своей тундре сахарный кус ест, к другим не тянется, с соседнего куста ягод не берет, своим доволен.

Немало у нас мужиков, которые Большую Землю, скажем, до Югорского Шара прошли и зимовали там. Женок бывалых, тех — меньше. Я, пожалуй, знаю только

¹ Дивно — много.

одну женку Фроловского рода, Марью Николаевну: она не только к Югорскому Шару ездила, а и на Новой Земле не один год с мужем промышляла морского зверя да белого медведя. А таких людей, чтобы всю Большую Землю насквозь прошли, — у нас и из мужиков не найдешь, не только что из женок. Иная женка только за Печору, к тундре, за морошкой переезжала, а по тундре сама собой и пути не знала.

И мной не думано было, что пройду я по Большой Земле из края в край. Проволок меня по тундре давний мой знакомец Леонтьев.

Леонтьева я вспоминала часто. Мой подпарщик, мой учитель и ученик, он помог бы мне присобрать в одно место все, что я за эти годы передумала, переплакала, перевздохала. А его что-то не слышно было.

В первые недели войны ушел он на войну добровольцем, воевал на Смоленском и на Калининском фронте, а потом как в воду канул. Говорили, что он убит, говорили, что оторвало ему правую руку, говорили, что без вести пропал. И никак нельзя было узнать правду.

Из Москвы хоть и изредка, а все же письма меня извещали. И вот однажды получаю я письмо от близкой своей знакомой Ангилины Константиновны Мореевой:

«Дорогая Маремьяна Романовна!

Сообщаю Вам приятную весть. После долгих розысков я, наконец, узнала адрес Николая Павловича Леонтьева. На днях получила письмо от его жены, в котором она сообщает, что Николай Павлович жив и сейчас почти здоров. Он был тяжело ранен, пережил девять операций и сейчас освобожден от военной службы. Выйдя из госпиталя, он принял участие в Памирской экспедиции.

В плане работы Всесоюзный Дом народного творчества имени Крупской предусмотрел командировку к Вам Николая Павловича Леонтьева для оказания Вам творческой помощи в работе.

Жена Николая Павловича написала мне, что она выезжает к нему в экспедицию и передаст ему наше предложение о работе с Вами. Как только Николай Павлович откликнется (а я убеждена, что он примет наше предложение), я сообщу Вам — когда он выедет...»

Письмо это я получила в мае 1943 года, а Леонтьева мне пришлось встретить только через год.

Год прошел. В конце апреля вызывает меня Шаров из окрестности и говорит:

— Есть нам, Маремьяна Романовна, телеграмма от Леонтьева. Приглашает он тебя над новой книгой работать — о войне. Сейчас Леонтьев едет из Кожвы в Хоседа-Хард и тебя туда зовет. Ехать-то мы тебе и помогли бы, да ведь здоровьишко-то у тебя худое. Тундра ведь...

А я этого дня уже давно ждала.

— Поеду, — говорю, — хоть ползунком ползти, а надо.

Встретила я Первое мая еще дома, а второго мая поехала. От Нарьян-Мара до Хоседа-Харда полтыщи верст. Пятьдесят верст я проехала на лошадях и попала в Хальмерку.

Хальмерка — невелик поселок, всего два маленьких домика. Живут в них четыре усть-цилемских семьи. Выехали они сюда из Усть-Цильмы ради рыбных да сенокосных мест. Мечут они сетки-переметки на реке Куе, на Кривой виске, косят сено по наволокам, кормят коров, зимами возят на лошадях почту и ездоков к Нарьян-Мару, а оттуда до своей Хальмерки.

Стоит Хальмерка на ровном месте, на краю наволоков и тундровых берегов, середь мелкого леса да кустов — и ничего в ней завидного нет. А люди живут и свое место любят: сенокос у них под руками, ягоды под глазами, рыба под боком.

Остановились мы в избе одного усть-цилема: он уже старик, лет шестидесяти, на один глаз крив, а сам красный, здоровый, живокровый.

— Что за люди наехали? — спрашивает нас.

Пришлось докладаться. Канева — почтовозчика, что ехал с нами, здесь уже знали. Вторая пассажирка, моя попутчица Лазарева, сама отчиталась:

— В Хоседу меня направили, в парткабинет заведующей.

А про меня Канев доложил:

— Это сказительница наша печорская Голубкова в командировку едет в тундру, про песцов да оленей сказы писать.

Понравилось все это старику и старухе. Старуха ему под пару, рослая да видная. Разговорились мы. Прогостили мы в Хальмерке часы считанные, а старики и на обратном пути гостить приглашают...

От Хальмерки в тундру ведут только оленьи тропы. Изредка вдоль этих троп разоставлены почтовые чумы. Около этих чумов пасутся олени. На них возят почту и проезжающих.

За нами от первого чума приехала какая-то ненка. На первые нарты погрузили мы почту с Каневым, на вторых ненка везла багаж Лазаревой, а саму Лазареву повезла я: дали мне хорей в одну руку, вожжу в другую, я и правлю, а Лазарева пассажиркой сидит.

С девьей поры не ездила на оленях, а тут пришлось все вспомнить. Незнающий человек в одних оленьих ремнях да ляжках запутается: в упряжке пять оленей, и у каждого по ремню да по ляжке. Всю упряжку ведет один ученый олень, и зовут его передовой али вожжевой. От рогов передового оленя идет вожжа, этой вожжей и правят. Дернешь вожжу — он влево пойдет и других поведет; по холке вожжей хлопнешь — вправо подастся; хореем ткнешь — напрямиком наускок пустится, хорей на землю бросишь — вся упряжка на скаку остановится. Лазарева боится:

— Справишь ли ты дорогу-то? Как бы нам не отстать да не сбиться. Пропадем ведь...

— Не пропадем, — говорю.— Бывали эти рога в торгу.

Да как гаркну, горла не жалеючи, — олени, как птицы пуганые, понесутся, только на санях держись.

Хвастануть-то я и хвастанула, да тут же и прохвасталась. Рванули олени, а я будто куль впереди саней и сунулась. Олени несут, а я под санями волочусь. Лицо мне твердым настом царапает, а я из-под саней никак выбраться не могу. Спасибо Лазарева — хоть и в совике была — исхитрилась как-то, вожжу поймала и остановила упряжку.

— Вот, — говорю, — шла похвальба на лучинковых ножках, да и те подломились.

На середине пути натолкнулись мои олени на какой-то бугор. Остановились мы и видим, что это лежит под снегом лошадь дохлая, а рядом — хомут и дуга в снег воткнута. Остались от лошади только голова, хвост да хребет, да ноги на сторону оттащены. А все остальное волки с песцами растаскали.

— Смотри, — говорю я Лазаревой, — отбилась лошадка от своей лошадиной дороги, тут ей и погибель нашлась. Не ходить, видно, лошадушкам по оленьим тропам...

Тундровый народ к проезжающим приемчивый. Когда ни приедешь, — хоть ночью, хоть днем, — хозяева подымутся, разведут огонь, скипятят первым делом чайник, а нужно — и накормят. И нас во втором почтовом чуме тоже чаем напоили. А проезжему человеку то и нужно: горячего чаю напьешься, обогреешься, — будто и домой приехал. За чаем и разговор веселый идет.

Я — чаевница вековечная, а мы все-таки от Хальмерки до второго чума пятьдесят километров на вешних оленях проволоклись.

Самые лучшие олени — в осеннюю пору. Осенние олени за лето отъедятся, — ребер не заметно. Погладить по гладкой шерстке — рука будто по бархату катится. По зимнему первопутку они как птицы мчатся, из-под ног снег так

и летит, худо и лес-то видно. Сани за санями несутся и снег рассвистывают, как вихорь. По сорок километров в час ездят ненцы на хороших оленях по первому снегу.

А вешние олени выезжены за зиму — и под весну совсем как трава вялая. И сила у них не та, и удачи в пути нет. Шерсть на них лохматая, клочьями валится. Вот на таких оленях нам нужно было до Хоседы проехать. А я еще не знала, что мне придется на них через всю Большеземельскую тундру волочиться.

Время уже стало весеннее — май к половине шел. Дорога прорываться стала. Днем, при солнце, наст оленей не несет, проступаются. С середины пути дорога дневную пору и вовсе отказывать начала. Пришлось днями стоять, а ночами ехать. А ночи в мае короткие: не успеет стемнеть по-настоящему, а с полуночной стороны уже снова заря занимается.

По зорям мы всю дорогу погоду примечали. Садится солнце в чистое место, без облаков — быть хорошей погоде. В тучу село — быть дождю. Разметались по небу облачные косы — быть ветру; с какой стороны эти косы — с той и ветру дуть. Утром откроется по поднебу заря, сплошной лентой вдоль земли — к дождю али к снегу. А к хорошей погоде утренняя заря вдоль земли рябоватая, разноцветными пластинками от солнца отсвечивает. К хорошему дню утренний туман на землю падает, а к плохому к небу подымается. Приметы эти мы всю жизнь собираем: сначала стариков слушаем, а потом и своим глазом примечаем — все разгадать охота...

В четвертом чуме, не доезжая Хорей-Вера, мы остановились на целый вешний день. А вешнему дню да осенней ночи в тундре-матушке конца-краю нет. Мне что-то не спалось. Лазарева да Канев по чумам замертво спали, а я, как ранняя птичка, зарю не просплю.



Выйду я из чума, оглянусь кругом — докуда глаз хватает — везде тундра, ровная, как море в безветерье, без сопок и пригорков. Снег перед теплом посинел и по поднебу, как пояском, синью небо опоясало. По насту бегают пуночки, — у нас их зовут еще пунухами, — маленькие птички с сероватыми спинками и белыми брюшками. Они первыми прилетают в тундру еще до начала весны. Водятся они большими стаями, по много сотен штук. Ребята на Печоре ловят их плашками — силками из конского волоса.

Пуночки ищут еду, а ребята подбросят крупки к плашкам и следят. Вот подходит к плашке matka-пунух. Она меньше самца, серенькая, с чуть-чуть синеватым брюшком. А самец, повыше и черноголовый, за маткой тянется. И оба не видят волосяных петель. Как только matka попала — самец никуда не уйдет и до тех пор вокруг матки скакать будет, пока сам не запутается.

Мясо пуночек нежное и жирное: с двадцати пуночек чайную чашку жира можно собрать. Жир у них как масло подсолнечное, не застывает. Чем крепче морозы-утренники, тем пуночки жирнее. Пуночки вкуснее куропатки, даже косточки у них — и те нежные: кто с молодыми зубами, тот от пуночки ничего не оставит.

То там, то сям перепархивают на синем снегу куропатки. Когда они прильнут ко снегу, их и хорошему глазу не заметить. Голову свою серенькую спрячут они под крылышко и спят. Только один куропоть на дежурство выставлен. Зверь ли пробежит, олень ли подойдет, человек ли подъедет — дежурный куропоть голос подаст, куропатки встрепенутся, головки подымут и вот уже вспорхнули — как пурга в небе поднялась.

И сколько ни ходи по тундре, везде рядом с тобой одни соседи — пунухи да куропатки, да сыздали чум, как матерая елка, виднеется.

Когда к чуму подходишь, первым делом встречают тебя собаки, обхают да облают, а то и укусят, коли хозяева их не окликнут. Кругом чума стоят нарты легковые, нарты грузовые, нарты-лари. В ларях одежда, шкуры, продукты. Женщины-ненки ездят на особых нартах. Похожи эти нарты на диваны, разукрашены они резьбой, раскрашены в разные краски, а иногда обиты разноцветными сукнами и убраны кистями. Олени в женских нартах также украшены кистями из замши разных цветов, увешаны колокольцами и бубенчиками.

Сам чум сделан из двух десятков шестов, соткнутых верхними концами и обтянутых двойным покрывалом из оленьих шкур: нюком и поднючем. Вверху оставлена дыра для выхода дыма. Сейчас, когда в чумах завели печки, в эту дыру выходит дымовая железная труба. В некоторых чумах теперь даже рамы со стеклами вставляют.

Внутри чума вместо пола настилают настил из легких, гладко оструганных, а иногда и крашенных досок, или, как их называют в тундре, — лат. На латах постланы сплетенные из тундровых трав или из ивняка коврики.

Около стен чума полукругом свернуты постели и закрыты пологамии или накидками. На время обеда устанавливают рядом с постелями коротконогий тундровый столик.

Пища готовится в тяжелых чугунных котлах, чай — в больших медных чайниках. Часто у ненцев можно встретить старинную посуду: фарфоровые чашки, медные ковши, братины¹.

Одежда у ненцев теперь стала обыкновенная, у мужчин — те же пиджаки и брюки, у женок — такие же старинные сарафаны, как и у нас на Печоре.

Хозяйка четвертого чума увидела у меня в чемодане кокошник и обзавилась.

¹ Братины — медная или деревянная посуда для браги или пива.

— Как хочешь, — говорит, — мне продай.

Ухватила она кокошник, на голову себе надела, да так и не сняла. Пришлось ей уступить. Дала она мне на дорогу буханку белого хлеба и деньги, да еще и поблагодарила.

В одном чуме ненцы иногда живут по две и по три семьи. Живут они очень дружно. Разговор у них немногословный, спокойный. Я и по-ненецки и по-коми понимаю, редких слов не знаю. Вот я слушаю, как они толкуют меж собой, что вот в стадах скоро отел наступит, как страда в наших деревнях, что утренники еще холодные и у телят большой отход будет. Во время отела важенок пасут наособице от быков, и пастухи зорким глазом караулят оленей от зверя...

По крепкому утреннику добрались мы до большого поселка Хорей-Вер. Дорога вела туда не по ровному месту, а через какие-то реки, хребты и горки.

Весна той порой заторопилась. Днем на улице стояли лужи, солнце разъело снег, все кругом засинело, вешний ветер проносный дул с полуденной стороны. Только через трое суток край неба к вечеру побелел, ветер стих, на землю упал приморозок, и за ним пришли олени.

Дорога к Хоседа-Харду шла теперь через крохотные поселочки Митрофан и Егор-Вань. Стали чаще попадать леса вдоль рек и ручьев. Лес здесь мелкий, елки не выше чума. На вторую ночь мы приехали в центр Большеземельской тундры — поселок Хоседа-Хард.

2

Хоседа-Хард запрятался от ветров в низкой ляговине¹ на берегу реки Хоседа-Ю. Когда-то здесь была одна культбаза, а сейчас вырос настоящий районный центр с учреждениями, клубом, школой, библиотекой, больницей и даже с типографией.

¹ Ляговина — ложбина.

В типографии я нашла мою внучку Саню; она работала там наборщицей второй год и жила в общежитии вместе с другими девушками. Половина Хоседа-Харда была мне знакома, — все люди наезжие из наших печорских деревень.

Остановилась я у Мавры Никоновны Просвириной из Оксина, намылась в жаркой бане, каждый день ходила по гостям: тот зовет — не откажешься, и другого обидеть не хочется. Из старых знакомых встретила секретарей райкома партии — Алексея Николаевича Крупина, скромного, хорошего человека, и Ивана Петровича Талева, веселого балагурщика-ненца.

Пришла я как-то и к ним в райком, предъявила свои документы.

— Найдем вам для работы комнатку, — говорит Крупин, — только мозги свои пошире раскидывай.

Талев давно знал Леонтьева по работе в Нарьян-Маре и очень жалел, что тот потерял руку.

С тех пор как только встречает меня Крупин, так и спрашивает:

— А ну, не приехал твой калека?

— Не видно что-то, — говорю, — может быть, и не приедет.

Крупин успокаивает:

— Вот подожди, скоро сюда аргиш¹ с рыбой придет, жди Леонтьева с ним...

Вскорости, верно, пришел аргиш с рыбой, а Леонтьева нет как нет.

Ночи побелели, солнце стало почти на округ кататься. По утрам над Хоседой летели лебеди, гоготали гуси, свистели утки. Первую за эту весну утку застрелил Крупин из дверей своей квартиры. Река разлилась вровень с берегами, быстерь ключом закипела, с часу на час ждали ледохода.

А Леонтьева все не было.

¹ Аргиш — олений обоз.

Вечером 14 мая на высоком левом берегу Хоседы показались две олени упряжки. Весь Хоседа-Хард высыпал на берег смотреть, как будут люди через такую погибель переезжать. Лед на Хоседе почти весь пронесло, вода бурлила в завертях, как в котле кипела.

— Как они переедут? — говорили люди. — Смотреть — и то страшно.

И вот видим — ненец на том берегу дрова-долготье на нарты кладет. Потом он прошелся вдоль берега и везде хореом пробует — не остался ли где под водой лед? И верно, видим — нашел: в одном местечке лед уцелел. Он и худой, весь в дырье, а уж раз перевозу нет — переправляться как-то надо.

Видим, встали приезжие на дрова и гонят оленей в воду. Кое-как, вполуплавь да вприскок, прибились олени к берегу. Переправа кончилась, и люди разошлись.

А я все в окошко поглядываю: кто такой приехал?

Вот ненец мимо нашего дома оленей провёл, олени мокрые и еле ноги волочат.

«Ну, — думаю, — оленеводы, видно, в магазин приехали».

Пошли мы в кино. По пригорку у клуба идет навстречу какой-то человек. Идет прямо на меня и говорит:

— Что, Романовна, не признаешь?

А я и в самом деле не узнала Леонтьева: весь он почернел на ветрах, да и в одежде незнакомой, и одежда-то мокрая, — и первым делом смотрю: есть ли у него правая рука?

А он той рукой здоровается да так крепко жмет, ровно она и не болела у него.

Сошлись мы да съехались, забыла я все кино. Уселись мы у Мавры Никоновны за самоваром и разговоры говорим. За все три года войны наговорились. Повела я Леонтьеву про свою нестерпимую обиду на Гитлера: двух сынов моих рожденных

загубил людоед, в русской крови по колена бродил, разорил города и деревни советские.

— Хотела, — говорю, — я воевать со змеем Гитлером — не своими руками, так своими сынами. Были у меня два сына-молодца, и надеялась я на их силу да удаль, на вострый глаз да на твердую руку.

И сыновей не стало, а я не унимаюсь: хотела я воевать не своими сынами, так своими делами. А как раздумаюсь — вижу, дела-то мои больно уж маленькие.

А еще подумаю — нет, говорю: не своими делами, так своими словами, а от войны с Гитлером не отступлюсь. Из моей непереносной боли, из моей денно-нощной печали выросли у меня в душе большие слова. Каждое это слово полно непростимой обиды. Каждое это слово бить должно по лихому ворогу нашему тяжелее палицы боевой... Про войну нашу народную рассказать хочу, а то без этого рассказа книга моя не закончена.

— Поедем, — говорит Леонтьев, — к нам в экспедицию. Севморпуть нас послал нефть искать, — тоже для войны. Лето по тундре проедем — книгу свою закончишь. А нефть найдем — еще скорее немцу капут придет.

Здоровье у меня в ту пору было неважное: цингой болела да и после смерти сыновей все еще не могла в себя прийти. И с домом печали да заботы немало было: невелики дети дома остались, и время нелегкое — война, — умеючи жить нужно было. И в тундру мне пускаться было страшновато: знаю, что она шуток не любит.

А я все это в расчет не беру. Не высказать всего, что я за эти три года накопила, — еще страшнее: кровь сынов моих стояла перед глазами, и молчать дальше я не смогла бы.

Хотелось мне рассказать людям про свое материнское горе, про черные дела людоеда Гитлера, про всенародную на него обиду. Думалось мне, что какой человек

поймет мою неодинокую печаль, не будет тот человек сидеть сложа руки. Станут мои слова палючим порохом. И как порох рассыплется они по сердцам людским. И вспыхнет у людей на сердце такая же непереносная, как и моя, обида. И потушить ту обиду можно только вражьей кровью.

И решила я отправиться на все лето в такой путь по тундре, из которого можно было и не вернуться...

Еще в день моего приезда в Хоседа-Хард пришли ко мне здешние учительницы:

— С большой просьбой к тебе, Маремьяна Романовна: выступи у нас в клубе, расскажи нам сказы твои.

Пришлось их уважить. На пару с Леонтьевым провели мы в клубе целый вечер. Леонтьев читал свои стихи, все больше про войну.

Потом я читала свои сказы по выбору учительниц: «Мое слово Сталину величальное», про Ленина — «На большой на Красной площади», а на закуску — «Мать Печорушка всем рекам река». Люди-то собрались все больше наши, печорские, — им и любо. Они слушают, а я говорю:

Испокон веку про Волгу поют песенки,
И никто не сумел про Печору спеть.
Мать Печора была позакинута,
От больших городов позаброшена,
А теперь метит Волге во соперницы:
Не поддается она шириной своей,
Не уступит она долиной своей,
Не уважит она водой полною,
Водой полною да рыбой красною,
Красотой ли своей распрекрасною.

И как сватья невесту, расхваливаю свою Печору — золотое дно:

Мать Печорушка всем рекам река.
Шириною она — широкая,
Долиною она — долгая,
Как водою она полная,
Тонями она пребогатая,
Берегами она распрекрасная:
С одной стороны — наволоками,
С другой стороны — тундровой землей.
В наволоках — луга сенокосные,
В тундровой земле — боровы места,
Боровы места да места ягельны,
Места ягельны да они ягодны.

Знаю, что на улице весна гуляет, про весну слова будут доходчивее, говорю да выговариваю:

Как наступит да весна красна,
Как пройдет-то да мать Печора,
Как пробрызжут да реки быстрые,
Прогремят ли ручьи глубокие,
Прибрежется вода вешняя,
Приобсохнут желты пески —
Раскрасива тогда Печора.



И чувствую, что отсюда, из середины тундры, люди как наяву видят матушку Печору, видят и любят. А я уж дальше сказываю про колхозную нашу весну печорскую:

Как по вешней-то воде вольной
Поплывут ли да легки стружечки,
Как поедут да все во лодочках
По тихим да вешним заводям
На гулянице да на весельице,
Все со песнями да все со баснями.
Берут весельца еловые,
Берут ружья для охотушки.

Много в этом сказе мной наговорено было. И о том, как прежде мы на путине и на сенокосе работали — без веселья и без прибыли, и как теперь работают на моторных лодках скороходных, с уловистыми сетями, как живут не в лодках, а в светлых домах и не нарадуются на богатый свой промысел. А вершу я свой сказ опять же похвалой матери Печоре:

Мать Печорушка всем рекам река:
Реками она — во все стороны,
Ручьями она — несчетная,
Родниками она — несметная,
Ключевой водой — чистая,
Заволями она — спокойная,
Быстерями она — быстрая,
Заливными лугами — отменная,

Песками-тонями — удобная,
Рыбой красною — урожайная,
Красотой своей — прелестная...

Слушают люди и знают, что неправильного слова здесь нет: сами Печору знают, любят да уважают. Недаром под самый конец сказа я балагурю про Печору:

Кто на ней живал,
Тот все сам видал,
А кто не был у нас —
Просим в добрый час,
Не на час, не на денечек, —
Приезжать на годочек,
Хлеба-соли кушать,
Песенок послушать...

Прямо из клуба позвал нас с Леонтьевым в гости к себе секретарь райкома Алексей Николаевич Крупин.

— День рождения, — говорит, — у меня сегодня.

Вместе с нами пришли к нему второй секретарь райкома Талеев с женой и председатель райисполкома Филиппов. Хоседа-Хард уже много месяцев не видал ничего хмельного, а Крупин ездил недавно в Нарьян-Мар и припас к празднику не по одной рюмочке.

Вот гости и хозяйева выпили, повеселели и языки попроще распустили. Больше всех говорил Талеев.

— Я былины знаю и новин с три короба наговорю, записывай только...

Вот берет меня Талеев за руку и напевает мне, и величает меня:

Маремьяна да свет Романовна!
Ты поедешь по тундре-матушке,
Ты увидишь ее богатство:
Оленей да златорогих,
Песцов ли да пушношерстных,
Дорогих зверей много-множество.
Поедешь да понасмотришься
Краев ли да наших ягодных,
Озер ли да ты разлиivistых,
Как рек ли да наших быстрых,
Колхозов богатых, славных.

Выпьет рюмку Иван Петрович, всплеснет руками да снова начинает:

Маремьяна да свет Романовна!
Ты воспой нашу тундру-матушку,
Ты прославь все ее богатство,
Всю красу-басу нашу северну,
Чтоб от малого и до старого
Знали-ведали заполярный край.

Прогостили мы в Хоседа-Харде целую неделю. Леонтьеву хотели переслать сюда из Москвы деньги, чтобы он купил для экспедиции три сотни оленей. А только сейчас

узнали мы, что в Хоседе банка нет и, значит, таких больших денег сюда перевести не могут.

Оленьи стада колхозов «Кара-Харбей» и имени Смидовича из-за Урала на летовки к морю шли, по слухам, где-то за Сявтой. И нам надо было попадать напересечку стадам, на Сявту. А в это время приехал в Хоседа-Хард из колхоза «Звезда» со стороны Сявты один ненец, Мартын Хатанзейский. Его переводили из кандидатов в члены партии. А к партийному билету нужна фотокарточка. Секретарь райкома Крупин — фотограф небольшой, да и в каких-то солях нехватка у него была, вот он и бился с фотокарточкой Мартыновой целых три дня, пока все сделал. А мы ждали.

Собралось нас, поезжан, немало. Леонтьев вез с собой в экспедицию того самого ненца, который его в Хоседу привез. Звали его Петря. И еще с ними в экспедицию, кроме меня, один молодой парень, рабочий Илья Ермаков, ехал. Да еще из Хоседа-Харда в Сявту отправлялись вместе с нами одна медичка Зина, да одна ветеринарка — ненка по имени Дуся, — эта ехала прививки оленям делать, — да еще одна русская девушка, тоже Дуся, — та от финотдела. Да с Мартыном ехала его жена Анна, молодая, здоровенная ненка. А всего девять человек набралось. 21 мая мы простились с Хоседа-Хардом и поехали на восток, к Сявте, в которой, кроме Мартына с женой, никто из нас не бывал.

3

Теперь мы ехали до Сявты проходной дорогой, без почтовых чумов и без поселков. Хоть дождь, хоть снег — укрыться нечем.

В десяти километрах от Хоседы оленеводы-дрововозчики дали нам доехать до Сявты три упряжки оленей вместе с нартами.

Олешки попались самые бросовые. Они на вывозке дров да сена по худым дорогам выезжены за зиму, еле-еле ноги передвигают. А все-таки не пешком идем, а на оленях едем.

На одной упряжке поехали Зина с Дусей, на другой — Леонтьев с Ильей, на третьей я с Петрей. Ветеринарка Дуся и Мартын с Анной ехали на своих трех упряжках. Вот и собрался целый поезд в шесть нарт.

Пока мы сидели в Хоседе, в тундре появились проталины, ненцы называют их «варюи». На этих проталинах весной охотно кормятся олени, на них же важеньки норуют телиться.

Протаивают раньше всего бугорки, вода с них скатывается, и они скоро просыхают. Кругом еще снег сугробами стоит, жидкий, из-под ног брызги летят, а на варюях уже без подстилки сидеть и солнышком обогреться можно.

И гнетет человека в ту пору сладкий, неодолимый, весенний сон. И на нартах сидишь — разогреешься на солнышке и задремлешь.

Олени по доброму месту, где снег под ногами не прорывается, ровной рысцой бежат, а ты сидишь и не замечаешь, как начал дремать. И вот тебе уже снится, что перескакивают олени ручей, сани дергают. Вздогнешь, проснешься на минуту, оглядишь путь-дорогу беспокойным взглядом, а кругом ни ручья, ни холмика.

И Петря сидит рядом, тоже клюет носом, только хорей над оленями для остратки покачивается, как удилице над рекой.

Толкаю я Петрю локтем:

— Рыбу, Петря, удишь?

Петря вздрогнет, проснется и засмеется довольным смехом:

— Пригрело, Романовна...

А я уж опять дремлю хорошей весенней дремой. И у Петри, чуть он успел ответить, — снова сон да дрема на глаза накатились.

Не спал один Мартын Хатанзейский, он дорогу правил. Окидывал он узким глазом встречные сопки, высматривал ворги¹, находил оленью ископытть и следы полозьев там, где непривычные глаза ничего не увидят. Вел он всех нас, как хозяин гостей водит по своему большому дому. Видно было, что каждая сопка и каждый ручей ему не чужие. Время от времени он вставал на своих санях во весь рост, оглядывал быстрым взглядом все, что лежало впереди, и находил пути и проходы в самых непроходимых кустистых местах. Зато Анна, его жена, спала богатырским сном. И трясет ее в иных местах немилосердно, а она все спит.

Тундра пошла неровная, вся в большущих клочьях². Заросли те клочья багульником да морошечником, снег на них приобрезался, и нарты между них вертелись, как колоды на крутой быстери. Как ни сноровит ясовей³, а нет-нет да и перевернет седока вместе с нартами. Упадешь, поднимешься, сани поправишь, снова на них лезешь. А долго опять не усидишь: только успеем тронуться — смотришь, опять в снег кверху ногами летишь. Сначала я пробовала считать — сколько раз брякнулась, — да только вскоре и со счета сбилась: упадешь, рассердишься и забудешь.

Первую реку, что встретили мы после Хоседы, я не упомянула, как звать да величать, а река такая, что и сейчас в глазах стоит. Выехали мы на крутой и высокий лесистый берег и видим, что лед на реке разломало, льдины раздвинуло, и кажется, зайцу и то на другой берег по этим льдинкам не упрыгнуть.

¹ Ворга — оленья тропа, прорубленная в кустах.

² Клочье — неровности почвы.

³ Ясовей — возчик, провожатый.



На другом берегу, низком и кустистом, вспорхнули куропатки. Петрин пес Черный кинулся под гору, прыгнул на первую льдину, с первой на вторую, а третья его и подвела: только Черный ступил на нее, она и перевернулась. Побарахтался Черный в ледяной воде, поскулил да снова по льдинам к нашему берегу прискакал.

Девушки ахают:

— Собака перейти не может, куда тут поедешь!

Я смеюсь:

— Бойтесь, так оставайтесь на здешнем берегу.

Спустили мы нарты с крутого угора, выпрягли из нарты оленей, а не распускаем их, — так пятерками они и стоят. Не выпрягал оленей из своих легковых нарты один Мартын. Вместе с Петрей, Леонтьевым и Ильей он прыгал по льдинам. Они убирали ледяную мелочь и подталкивали друг ко другу хореями надежные, матерые льдины, которые могут упряжку оленей выдержать. Потом, когда все вернулись на свой берег, Мартын сел на легковые нарты, зыкнул на оленей, огрел их хореем и как ветер проскочил по самодельному ледяному мосту. Другие упряжки без нарты за первыми оленями тоже прошли.

Тогда поволоклись и мы. Держась за нарты по двое, мы двигали их перед собой, опираясь на них там, где нога оступалась. Потихоньку, один за другим, с опаской да с оглядкой, все перебрались на другой берег. Дуся с Зиной и те не остались: сколько ни визжали, а реку одолели.

Остался над крутым берегом только бедный Черный. Скулит, а не идет.

— Придет, — говорит Мартын.

И тут же вожжой тряхнул, был да и нет. Пришлось и нам всем за своим капитаном тянуться: без него дорогу никто из нас не знал.

Я все время говорю: «дорога». Люди могут подумать, что в тундре дорога — проторенная да пройденная, как в деревнях, али камнем да деревом выложенная, как в городах.

Чтобы людей не обмануть, сказать надобно, что в тундре всяк оленевод свою дорогу прокладывает. Один норовит ехать там, где поближе да попрямей; другой выбирает, где поудобней: реки поуже, снега помельче, кустов да леса поменьше, тундра поровней. Глядя на них я думала: «Вот так и у нас у всех ведется: разными путями ходят люди, а если к одному и тому же тянутся — рано или поздно к одному и придут, вместе соберутся. Вон, коллективизация у нас началась, так не было двух людей, чтобы одинаково к ней шли: каждый по-своему ладил жизнь прожить. И сколько ни мудрили мы, а когда обдумали все да обмозговали, поняли, что одного нам охота, к одному сердце лежит — к жизни полной да дружной, к той самой, которую социализмом зовут. И кто где ни кружил, а пути у всех сошлись, и все мы в одной семье, под рукой и лаской у одного всенародного отца — Сталина».

Вскорости после первой переправы вывел нас Мартын на привольное место. Куда ни глянешь — за полсотни верст на обе стороны глаз берет. Не иначе тут проходил водолом¹ между безымянной рекой, которую проехали, и между рекой Адзьвой, что впереди в далекой дали чуть-чуть отсинивала. Сколько ли проехали, олени притомились.

— Сяйник лагамбы — чаевать будем, — объявляет Мартын на какой-то остановке.

Съехались мы кучкой, сани возле саней выставили, оленей отпустили. А вокруг нас ни деревца: ни рубить, ни пилить нечего. Хоть и про чай забудь.

Смотрим, Мартын из-под амдера — из-под шкуры, посланной на сани, вытаскивает сухое полешко, за ним какую-то дощечку, — подобрал, видно, в дороге.

— Растопка есть, — дрова добудем, — говорю я.

¹ Водолом — водораздел.

Отошла я неподалеку, багульных да вороничных¹ кусточков нарвала прямо с боровиной², несущую охапку.

— Куда ты эту дрянь тащишь? — спрашивает Илья.

— Погоди, — говорю, — около этой дряни еще греться будем. Стоит ей только загореться — так зафушкает, что во все стороны жар пойдет, близко не вставай — поджаришься.

Настругал Мартын из полешка лучины. Ненецкие ножи заточены только с одной стороны, так лучину они щепают мелкими стружками, каждая колечком завернулась. Не лучина — а перо жар-птицы. Чуть поднеси огонь — вспыхнет это перышко, успевай — клади лучину, а на нее и багульник с вороничником. В середину много не мечи, с боков накладывай. Одно за другим разгорится, одно горит — другое подсыхает. И огня большого не видно, он синеватый какой-то, а жар лютый. Над костерком Мартын варило поставил: три палки чумиком соткнул, а к ним железный крюк нацепил, чайник повесил, а на таком жару в минуту чайник затрясся и крышка заприискакивала.

Тундровики чай любят густой да крепкий, как клюквенный сок: сквозь стакан огня не видно, пьешь — так рот и вяжет. На вольном воздухе и чай, и еда слаще кажутся. С дороги чаем не только желудок, а и сердце обогреешь: вся кровь разогреется, по каждой кости, по любому суставу как хмель пойдет, весь человек живым станет.

Чайку попили, — раскалякались. Девушки ко мне пристают:

— Что это мы, — со сказительницей едем, а скучать будем, что ли? Выкладывай, Романовна, и старо, и ново, и за сто лет вперед.

— Что через сто лет, — говорю, — будет, я не больше вашего знаю, про новое опять вы, молодые да грамотные, не хуже меня знаете. Буду вам про старину баять.

¹ Вороника — мелкий ягодный кустарник.

² Боровина — дерн.



И принялись мы побывальщины печорские плести про колдунов, про чертей, про чернокнижья.

«Прежде, — говорю, — в каждой печорской деревне не по одному колдуну жило. Вон взять нашу ниже-печорскую деревню Сопку, так там одних колдунов Чуклиных не пересчитать было. Из прадедов их один колдун Чуклин жил, так он что делал? Поедет каюками в Чердынь, али в Усолье с мужиками. Плынут они обратно вниз по Печоре, в карты играют. Вот колдун и призахвастается своей силой.

— Что, — говорит, — ребята, за столом сидеть — этак каждый играть сумеет. Давай на воде сыграем.

Схватит свою волчью шубу, ляпнет ее прямо на воду, столкнет на шубу двоих мужиков, сам-третий скочит, усядутся и играют.

А дома опять начнут в карты дуться. Иной раз, фокуса ради, проиграется Чуклин. Мужики радехоньки, выигрыш немалый. А Чуклин у них покурить попросит и тут же дымом в окно уйдет, али попить попросит — водой утекет. Да их же из-за окна и дразнит.

— Робятушки, я здесь, прощайте.

Хватятся мужики: у них и своих-то денег нет, а Чуклина и след простыл.

Вот и скребут затылки.

Весь род колдунов Чуклиных до того в себя верил, что никогда и амбаров не закрывал.

К одному из колдунов Чуклиных фатерщик¹ усть-цилем приставал. Взял да и зашел, наклал мешки полные и, к дверям направил. А на улице и лошадь была уже подведена. Стал он дверь отпирать — не может: дверь сама собою замкнулась и не отпирается. Вон он и стоит. И не догадается даже добро из мешков обратно выкласть: тогда бы дверь скорее открылась.

¹ Фатерщик — квартирант.

До утра стоял. А Чуклин знает все и не торопится. Утром встал не рано, попил чайку, попрохлаждался. Потом пошел к амбару, открыл двери, а там фатерщик как заговоренный стоит.

Пал усть-цилем в ноги:

— Наша глупость, наша завидость, — прости.

— Ну, ладно, — говорит колдун, — поезжай да всем сказывай, что у Чуклина замки на амбаре не повешены.

Приутихли девушки мои, глаза у них широкие и рты открыты. Заслушались и Петря с Мартыном и Анна с Дусей-ветеринаркой. Один Илья спит. Костерок по-прежнему фушкает да потрескивает, да багульным дымком обносит».

Глядя на меня и Петря разговорился:

«Жили около нас пелеевцы-ненцы, три брата. Как-то полозья секли на сани. Не могут находить полозья-то и говорят:

— Лешой, — говорят, — пошто нам полозья-то не давашь?

А старшой брат и говорит:

— Ребята, — говорит, — лешой-то не парато баской¹. Придет, дак, бывает², испугаетесь.

Сели они на сани — табак нюхать. А он по лесу-то и бежит к ним: весь лохматой, нагой, такой большой да высокой — выше большущего елья.

Братья пали с саней да и лежат в снегу. Лешой пришел и ругает их:

— Вы дики, — говорит, — вы дики. Вы вовсе дики. Бабы-то «лешой», да и мужики-то «лешой», да и робята-то «лешой», да и все-то говорят «лешой»...

Поругал и ушел, сам-то я не слышал и не видал. Люди так бают...»

¹ Не парато баской — не очень красивый.

² Бывает — может быть.

Долго бы вспоминали мы старинные поверья да побывальщины, только Мартын заторопил нас:

— Ямдатель¹ надо.

Олени той порой разбрелись по дальним варюям. Петря с Мартыном пошли собирать их. Обходят они вокруг оленей, гейкают да порявкивают, олени все кучней и кучней собираются к тому месту, где мы остановились. А если какой олешек отобьется на сторону, тут Мартынова собака да и Черный, что к тому времени догнал нас, — первые помощники. Как врежутся они бежать за оленем, да как погоняют его верст пять-шесть, он и сам своей свободе не рад станет, и к стаду прибьется.

Сбились олени в кучку около саней, а у нас от саней уже вокруг оленей тынзей² обведен. Тынзей покачиваем, олени и боятся переступить его. Да и людей у нас не мало было, сами, как ограда, вокруг встанем. Приученные олени знают, что это их ловить собрались, и не противничают.

Запрягли мы оленей — и снова в путь-дорогу. Чистым, негористым местом ехать было нетрудно. Изредка Мартын завозил нас на длинные попутные озеринки. Снегу на озерках было совсем мало, и олени бежали быстрее. Хороший путь вел и по болотам, там снег еще уцелел.

А солнце пригревало все сильнее: день по дню дело шло к теплу. Вот и под вечер день клонится, а солнце все еще греет, да так, как недолго назад и в полуденную пору не грело. И торопимся мы, дорожим не только часом, а и минутой.

Мартын грозился:

— Коли Адзэва прошла — обратно ворочаться будем.

¹ Ямдатель — ехать.

² Тынзей — аркан для ловли оленей.



Была, правда, маленькая надежда на какого-то старика, который жил где-то на Адзьве. В случае, если лед на Адзьве прошел, старик перевез бы нас на лодке, а олени бы вплавь перешли.

Мартын до того торопился, что даже оленей перетуживал. Шли они, заплетая ноги, и от усталости только что не падали. Ехали мы целый вечер, ехали после заката солнца, уже в полночь остановились на привал. А полночь чуть не на день похожа: светло кругом, одно небо чуть потемнело, и на нем редкие звездочки видно.

— Последние звезды догорают, — говорю я Илье: он первый раз в наши края попал. — Через неделю единой звезды не увидишь.

Удивился Илье моим рассказам про двухмесячную белую ночь, когда солнце днюет и ночует над тундрой и красой-басой ее любит.

Ни растопки, ни дров в этот раз совсем не было. Пожевали мы всухомятку кто чего, да с тем и спать легли.

Ночь упала тихая и теплая, без приморозка. Звезды светили неровным светом: то позатухнут, то снова зажгутся в полный свет, предвещая плохую погоду. Одна Северная звезда горела ясно и ровно: по этой звезде погоду примечать нельзя. Зато по ней и нижнепечорцы наши, и ненцы, и лесные люди с верховьев Печоры путь примечают. И наши деды и отцы, когда за губы в море ходили, эту звезду вместо компаса считали. С моря обратный путь уже в сентябре держат; а в сентябре ночи темные, идешь по дороге — так за черную корову запнуться можешь. И если бы не было верного компаса — Северной звезды, в такую ночь нашим промышленникам в море не плавать бы.

Отоспалась я на саях, и сейчас сон на ум не шел. Смотрю я на звезды, как на старых знакомых своих. Нагляделась я на них и на сенокосах, и на рыбных тонях вдоль рек и моря, да и просто из дому: иной раз скучно станет — позову сына Клавдия:

— Пойдем, небо посмотрим.

И на улицу иду с ним.

Вот и сейчас — лежу, смотрю вверх, на звезды, — и легко мне, и приятно, и нездоровье свое я забываю, и воздух по-особенному чистый, надышаться им не можешь. Глаза как будто зорчей стали, уши — чуткие, как у горноста, а все тело — будто десяток лет с меня сбросили.

Вот в самой середине неба кучка звезд, как золотые зерна рассыпались. Кучка эта золотая все время переливается: звезд то меньше, то больше, то ярче они, то потемней. По этой кучке мы под новый год примечаем: густо их — много птицы будет гнездиться по рекам и в тундре, плодovitый для птиц будет год. А если редки звезды в той кучке, — жди охотники птичьего неурожая, редки будут гнезда на берегах рек и озер.

Вот еще другая семья звезд. Многие люди называют ту семью — Большая Медведица. А я величаю по-старинному, по-печорски — Лось, и ненцы так же зовут. Эти звезды крупней и ярче многих других. И по хвосту Лося примечаю, что близко уже настоящее утро.

Звезды блекнут, воздух чуть-чуть свежеет, занимается и разгорается заря. Вдруг натянуло туман с моря и закрыло и зарю, и солнце, и небо. Вижу, что туман на землю не падает, разбудила я Мартына.

— Вставай, — говорю, — смотри: Морянин баню затопил да пару напустил. Как бы дождя не натянуло. Может быть, лучше сейчас ехать.

Огляделся Мартын, к чему-то прислушался, понюхал воздух и согласился. Через полчаса мы ехали снова.

4

До Адзьвы добрались мы вдолге после полудня. С высокой сопки, на которую нас завез Мартын, сначала было видно синюю полосу по поднебу.

— Адзьва, — говорит Мартын.

И все мы думаем одно: прошел али стоит лед на Адзьве? Если прошел — придется обратно в Хоседа-Хард ехать. Лодку с собой мы не везли, а старик, на которого Мартын надеялся, мог и в тундру уйти на охоту, и помереть мог, да и мы могли к тому месту не попасть.

Ехали мы, ехали, видим — из синей полосы Адзьва стала темносиней, потом полоса почернела, и вот обозначился дальний берег большой тундровой реки. Ближе подъезжаем мы к Адзьве, и на глазах вырастают береговые редкие елки, похожие на чумы, а между елками кусты чернойника, яры, шубницы и ивняка. Над головами стаи гусей чаще пролетают, речные чайки-чираки чаще забелели и заживирикали, коротконогие птички-паунки по береговым кустышкам запели, заперекликались. Птички эти красивей пуночек: от головок к спинке у них идет узкая полоска красных перышек, и спина такими же перышками расцвечена. Кричат они по-чудному:

— Варите-варите-варите-варите.

— Мартын, — кричу, — варить велят! На новом берегу обед варить надо.

Как раз в это время мы выехали на береговой кряж и один за другим, как ребята малые, кричим:

— Лед стоит!..

— Ура!..

— Адзьва нас дождалась...

Адзьва, на самом деле, позже других рек проходит. Только уж и время было позднее — конец мая, — вот мы и радовались.

А Мартын даже улыбки не обронил. Он перелез через снежный вал, что ветрами намело под крутым берегом, посмотрел вниз и говорит:

— Забереги¹ однако...

¹ Забереги — полосы воды вдоль берегов рек и озер накануне ледохода.

Помолчал и еще вытворожил слово:

— И лед весь в дырках...

Вправо, в какой-нибудь версте, мы увидели маленькую избушку, совсем такую, про которые в сказке говорят — «на курьих ножках, об одном окошке». Из трубы, — видим, — дым небо коптит. Значит, — думаем, — есть тут жив человек.

Подъехали мы к избушке — хозяин навстречу вышел, к себе зовет. Зайти мы зашли, а от угощения отказались, торопились Адзвву проскочить. К каждой реке едем, и перед каждой забота да печаль, а переедем — и головой не качай, опять радешеньки.

— Худа река-то? — спрашивает старика Мартын.

— Откуда ей хорошей-то быть? — ворчит старик. — Успевайте, а то вечером-то не иначе как пойдет Адздва-матушка: щелья-то вишь сколько наломало, и все раздвигается, раздвигается...

— Как рыба ловится? — спрашиваю.

— Да сам-то не голодный сижу, коли не солить, так хватит варить.

— А птицы-то дивно набил?

— Уток-то и подходяще добываю, а гуся — не хвастаю. Пролетной птицы много ли набьешь. Гнездиться гусь еще не начинал. Вот у меня капканишки готовы, поставлю — так гусь и будет...

На улице мы, верно, видели капканы на гусей. Зимой теми же капканами у нас песцов да лисиц ловят. Сейчас капканы висели на тех же колах-вешалах, на которых были развешаны и сетки-пущальницы.

Все жительство стариково около дому на том же носке: и лодки, и бочки, и лошадь возле стога с сеном. Эти лодки и помогли нам перебраться через заберегу.

Из битого льда мужики сплотили живой переход, вроде как гиблый мостик вымостили. Боишься — не боишься, трясешься — не трясешься, а надо перейти

да переехать. Олени по тому мостику не без купанья на главный лед перешли, сами мы на лодке перебрались, а нарты с берега на лед по тому же ледяному мостику тынзеем перетянули. И пока тянули, лед под нами не раз к забереге откалывался, а мы, как зайцы, с полого места снова на лед прыгали.

Я на девок кричу:

— Ползите, не страшитесь, набирай силы да смелости — всю трусость переборешь!

По льду олени хоть и проваливались, а скоренько Адзвву перебежали. Через заберегу на другом берегу нам посчастливило по большой льдинке проехать, не распрягая оленей. Льдинка та одним концом к берегу, другим ко льду приткнулась, и мы хоть и не без страху, с горем пополам, а выскочили на другой берег Адзвы.

— Ну, теперь мы дома! — кричит мне Зина.

Мартын на самом берегу Адзвы приказал нам на отдых располагаться.

Пока олени ели, мы провели на берегу Адзвы и вечер, и ночь.

Так в дождь мы утром и поехали от Адзвы. За ночь снег дождем рассекло, а по жидкому снегу оленям по брюхо брести приходилось. Мартын выбирал путь по тонкоснежью, по озеркам да болотникам. Там, где глубокие снега сменялись голой тундрой, Мартын норовил ехать по мелким кустикам багульника. Нарты на них наедут, кусты припадут к земле, и сани по ним идут легко и беззадержно — оленям и легче. Больше всего снегу на окатях, и Мартын обходил их, проезжая по хребтовинкам.

А когда нельзя было объехать снежные увалы, олени шли напрямик, и тогда сани рындали¹ в снегу, олени только рывками, наускок, могли их кое-как тащить. Чтобы олени вовсе не выбились из сил, Мартын и Петря рубили кусты и подкладывали хворост под сани. Тогда сани по хворосту легко подкатывались. Только и самим оленям не легче было итти: ноги им засасывало в снегу, как в глине.

¹ Рындали — застревали.

Дождь шел и шел, не щадя нас и не уставая. А нам ни прикрыться, ни просушиться от дождя негде. Мартын, Петря и Дуся с утра надели на малицы¹ суконные совики и сидели, как князья, на нартах: сукна дождь не пробивает. Леонтьев с Ильей в простых оленьих совиках² тоже думушку не думали. У меня, Зины с Дусей малицы хоть и мокли, а все же не голые под дождем сидим.

Тундра шла безлесная, без приметных мест, без сопок и без рек. Один Мартын понимал, где и куда мы едем. Нет-нет, да и вывезет он нас на какое-нибудь старое чумовище. Остановимся мы на минутный отдых, посмотрим кругом — там олени рога в кучу сложены, тут ложка утерянная лежит, щепка, хворост, следы старых огнищ чернеют. И опять едем дальше.

На одной большой проталине Мартын остановился, сказал что-то Анне, и оба принялись ползать по тундре, высматривая неведомо что в прошлогодних листьях морошечника. Ползали они минут десять и вдруг оба хватаются друг другу за руки, встают и вдвоем поднимают женскую ненецкую гребенку мамонтовой кости.

— Чур пополам, — говорю я им.

— Здесь мы свадьбу свою праздновали, — говорит по-коми Анна. — Захмелела я на свадьбе крепко и выронила вот эту гребенку. И три года мы в это место не заглядывали, а тут вот попали. Видишь, нашли.

— Ухранила тундра-матушка, — говорю я им.

Анна до того была радешенька, что на полчаса у ней даже сон оборвало.

К вечеру мы подъехали к какому-то безымянному ручейку. Ручеек прорыл в глубоком снегу щель на полсажени, как чорт проехал. Мы хотели было перебраться на другой берег, да олени так вымучились, что Мартын решил заночевать до переправы.

¹ Малица — верхняя одежда ненцев, шерстью вниз.

² Совик — верхняя одежда ненцев, шерстью наружу.

Петря с Леонтьевым перекинули через ручей нарты, перебрались по ним на другой берег и притащили оттуда кучу сухого хвороста. Сами мы так устали, что и есть не хотелось. Пожевали мы чего-то с чаем, обсушились у костра и уснули как убитые.

Утром нас разбудила Петрина ругань. Выскочила я, думаю — с Петрей случилось что-то неладное.

— Что с тобой, Петря? — спрашиваю я его. — Не поперек ли места спал, не зарю ли проспал?

Он всегда спокойный, говорит тихонько, с протяжкой, голосу никогда не возвысит, а тут бегаёт кругом и ругается по-коми: почти все ненцы в Большеземельской тундре говорят по-коми.

Махнул Петря кулаком в сторону ручья и опять накрик ругается.

А на ручей и смотреть не надо, — слышно, что ревет, как добрая река. За ночь, оказывается, ручей разлился, прорыл себе в снегу широкий ход, и про переправу в здешнем месте можно было не думать.

Поднялись все, сходили — кто по разу, кто по два на ручей и поняли, что пересечь его можно только где-нибудь выше. Пришлось ехать вдоль ручья к вершине. Целый день бурхались олени в глубоком снегу, пока верстах в пятнадцати от ночлега нашли подходящее место для переправы. Здесь ручей разделился на три ручейка, и каждый надо было по-особому одолеть: один наискосок, другой — напрямиком, третий — криулем.

Все три ручья мы с Петрей кое-как одолели, а за нами и остальные. Одна Дуся поехала еще выше и проскочила там ручьи, ног не замочила.

Тундра в дождь унылая, темная и на человека тоску наводит. Ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит, все где-то залегли. Одни птички-плищечки чивиликают над головами... Вдруг пролетает гагара и орет на лету:

— Га-га-га-га...

— Круговой! — кричу я гагаре.

И на крик она встряхнется, от испуга опустится ниже, сделает круг над головами и полетит дальше.

— Круг стожара, круг стожара! — кричит гагара.

Если так гагара закричала, считай — скоро дождь стихнет и хорошая погода направится, хоть сено коси. Стожарами мы зовем жерди, вокруг которых сено в стог кладут...

Только к вечеру довели нас олени к тому месту, откуда мы сутки назад хворост для костра собирали. Тут и заночевать пришлось.

Целую ночь мы сушились. Платье мы сушили на себе: стоим около костра и поворачиваемся к огню то одним, то другим боком. Малицы мы вывернули и повесили на хореи около костра.

Той порой Мартын с Петрей забили одного оленя. Он совсем выбился из сил и весь день тащился на привязи за санями, мешая упряжке бежать. По законам тундры такого оленя или оставляют в пути, в надежде, что он откормится и кому-нибудь на глаза попадет, или забивают на мясо.

Сгрудились мы вокруг оленя, смотрим. Петря стукнул его тундровым топориком, олень на минуту свалился. Петря быстро вынул из медных кованых ножен точенный с одной стороны узенький нож, и быстро ткнул его оленю в горло. Олень дрогнул, метнулся, заперебирал ногами, да так и остался лежать с ножом в горле, с-исподтиха шевеля задней ногой. Нож не вынимают минуты три для того, чтобы кровь не выходила наружу, а собиралась внутри. После этого Петря скорехонько вспорол оленю брюхо, вынул брюшину, печень, легкие. Внутри, между ребер оленя, как в братине, осталась одна кровь.

Пока кровь не остыла, ненцы один за другим черпали ее кружкой и пили. Попробовали по глотку и мы: кровь еще теплая и солноватая, солить не надо. Тут же оленя начали по тундровому обычаю айбурдать — есть сырком. Сырком мы съели самые лакомые части: печень, почки и самолучшие куски мяса. И вместо солонки макали кусочки в соленую кровь. Только после этого облупили шкуру, разделали всего оленя на части, по кускам, и принялись варить и жарить. Колхозные цены на мясо в тундре небольшие — и мы ели мясо, кто сколько хотел. Накормили досыта и собак.

В сушке, в еде да в разговорах прошла вся ночь. Утром Мартын объявил:

— Олени всю ночь лежали. Только сейчас пошли есть. Дневать здесь придется.

Ехать все равно было нельзя: дождь прошел, но зато такое солнышко пригрело, что снег чуть не кипел, на глазах терялся. В первый раз показались большие мухи, мы зовем их «плевки». Они кружились вокруг развешенного мяса. Плевками их зовут за то, что они «заплевывают» мясо: когда садятся на оленину, оставляют на ней яички, на гнид похожие. За какой-нибудь день из яичек выйдут червячки, заползают — и тогда прощай мяско. Пришлось оленину обернуть мешками и закрыть шкурой убитого оленя.

День веселый да солнце угревное, так мне и спать не захотелось. Побрела я в тундру посмотреть, не кладет ли птица яйца. В такие дни тундра не тоску, а радость на сердце наводит. Вокруг тишина да раздолье: сыздали сопки белеют, между сопок озерки виднеются, вода на них от солнца не хуже солнца светит. Со всех сторон птица летит: снова гогочут гуси и под верхом шум, слышим, как они крыльем машут.

Как в деревне, бывало, кричу я гусям, чтобы было им легче лететь:

— Бог на помощь! Бог на помощь!..

Не видала я только черных гусей, хоть они и пролетают мимо нас на острова Ледовитого моря.

Вот лебеди летят, белые, большие, шеи длинные. Крыльями машут редко, будто они и не нужны им, а просто так забавляются. Летят лебеди и сызредка покукивают мне с распевом. И лебедей я без привета не оставляю.

— Здравствуйте, белы лебеди, белы лебедушки. Летите ко своим местам, ко своим гнездам. Лебедят вам побольше, трав посочнее, песков пожелтее. Широка тундра-матушка. Хватит приволья и на вас, и на нас.

И улетают лебеди не торопясь, неохотно, будто им жалко со мною расставаться.

Утки летят, только свист стоит. Когда не очень высоко летят, я всех их различаю. Вот утки-черняди свистят. Казаки у них черные с белым брюшком, матки — темнокоричневые с сероватым брюшком. Вот утки-кугласы, с белобокими казаками и серыми матками. Вот утки-сауки, похожие на чернядь, только вдвое мельче черняди. А вот утки-чирки с пером, как у саука, с сизыми сорочьими перышками в крылышках; эти еще вдвое меньше, чем сауки. А за ними следом серые утки-крохали летят — самая большая водяная утка и самая жирная. Из водяных уток не попались мне на глаза утки-косачи, похожие на крохалей, но с длинными перьями на головках, и перья те — будто косички; не видела утки-гоголя, уток-нырков и уток-турпанов; турпаны чуть поменьше гуся и живут возле самого моря.

Из сухопутных, горяных уток в тундре водится только утка-острохвост, рябая, пестрая, сухая мясом, узкая костью, с длинным острым хвостом. У самца-острохвоста хвост чуть не больше сорочьего. Привечаю я и уток:

— Здравствуйте, утки-водоплавки, добро пожаловать в тундру-матушку. Садитесь на тихи вешны заводи, к бережку приплывайте, по берегам гуляйте, яички садите да детей плодите, плодите детей, кормите людей.

Яиц я не нашла, набрала только хворосту для костра, зато с вольной вешней птицей досыта наговорила, душу отвела. Пока поднимались наши засони, пока снова котлы варили да чай кипятили, пили да ели, да речи вели, день и к вечеру покатился. Глядя на ночь, Мартын

засобирался в путь. Ночи теперь стали не темные, солнце заходило за тундру только на малое время, и ехать можно было что днем, то и ночью. А тут еще приморозок пал: с жаркого дня на мороз перекинуло. Про такие перемены поговорка есть: на дождь падает дрожь.

5

Только успели мы тронуться — Петря кричит:

— Песец, peseц!..

И показывает рукой вперед. Смотрим мы и видим, что по окати дальней сопки будто куропатка летит. Остановится, постоит да опять бежать примется. В зимнее время в такой дали песца можно заметить только приметливым охотничьим взглядом. А сейчас, весной, мех у песца синевой отливает и от снега отличается. Поскакал-поскакал peseц и за сопкой скрылся.

Олени через два-три километра останавливались на недолгий отдых. Каждую такую перебежку ненцы называют «дух». Осенний дух длиннее весеннего вдвое-втрое. От поселка до поселка, от чума до чума ненцы меряют тундру духами.

— Семь духов ехать-то, — говорят они, собираясь утром куда-нибудь.

Далекий путь али короткий ждет тебя — никогда от ненцев толку не добьешься. Версты и километры у них тоже сменяются.

— Сколько верст ехать-то? — спрашивают ясовея-проводника.

— Да теперь верст пятьдесят будет.

— А разве раньше меньше было?

— Как не меньше. Осенью двадцать считали.

Ненец сначала сосмекает: осень стоит али весна, хороший путь али худой, сытые олени али сустуйные¹, а уж потом только счет верстам выведет. Одна только мера есть

¹ Сустуйные — истощенные.

у ненцев: десять верст они зовут «побердо». На хороших оленях побердо проезжают за один дух.

Снова мы едем, снова видим ту же муку да маяту. Чем дальше, тем хуже дорога, тем больше муки. То олени без толку пурхаются в снегу и сани сдвинуть не могут до той поры, пока кустов не насекем. То в непролазных местах порвут олени и ремни, и лямки — опять с ними возня да мученье. То без конца объезжаем какой-нибудь беспутный ручьишко. Ручьи-то в тундре не вовсе прямые, вывертятся мысами да прилуками, да большими заворотами, хуже иного верченого человека.

У любого ручья много схожего с человеком. Человек, как и ручей, зачинает жизнь робко и боязливо, будто тонкая струйка течет и следу на земле не оставляет. А разойдется человек, силы да мысли наберется, как ручей воды, — и разрастается вширь и вглубь, оставляя глубокий след...

Пройдет весна, прокатится вода-снежница, и если дождь да родники подживлять не будут — тундровый ручей выбежит и засохнет, разве что из какого ли ржавого болота сырь станет брать.

Так и человек: коли не течет в него живая вода из родников народных — не долог его путь и коротка о нем память.

Что люди с ручьями да реками схожи, я заметила еще десять лет назад, когда я складывала свой первый сказ. Мне хотелось сказать какое-то большое слово про весь народ, про партию, про Сталина. И не знала я — с чем мне их сравнить, откуда мне пример взять: с листа ли, с куста ли, с белой ли березы, из земли ли, с неба ли, с красного ли солнца. И забрела мне в голову светлая мысль. Думала я:

«Мы, маленькие люди, на ручьи похожи. С чем же я сравню Сталина, если он нам всем талан-счастье на сердце положил?»

И сравнила я его с океаном:

Много с гор ручьев по земле течет,
Из ручья в ручей, в реку быструю,
Из быстрой реки — в мать Печорушку,
Из Печорушки — в океан-море,
В океан-море Ледовитое.
Много думушек есть народных:
Мысли-думушки как ручьи текут,
Как ручьи текут да как вода бегут.
Они все-то, думы, стекаются,
Они все-то, думы, сливаются,
Как ручьи в реку, в мать Печорушку,
Мысли-думы текут в нашу партию.
Как течет река мать Печорушка,
Как несет свои воды, воды полные,
Воды светлые в океан-море,
В океан-море Ледовитое,
Так же льют-текут думы партии
В море светлое — в думы Сталина.

Век живешь и век думаешь. В одной голове углов-то немного, и тесно там думаем. Я в своих причитаньях так и говорила: дума думушку пошибает. Заберется в голову дума, вырастет и вытеснит оттуда все другие мысли до той поры, пока ты главную думу не выскажешь. Вылетит она вольной птицей на волю, добрым людям на дивованье, — тогда и другие думы расти начинают.

Но нигде так не просторно думаю, как в пути по тундре. Едешь, смотришь вокруг на ширину немеряную, на красоту земную, весеннюю, — и дума у тебя как будто делается шире, светлей и красивей. И просторно думаю бродить в голове.

Много я передумала в дороге, разбирала да ворошила мысли в своей голове, как в жемчужной коробке жемчуг. И накопилось, вижу, у меня мыслей — как у красной девки в сундуке снаряду. Не каждому открою, а уж открою — умею любоваться...

Пока я разметывала мысли, мы незаметно подъехали к Нерчите. Текла она в глубоких берегах. Когда мы выехали на самый берег, друг перед дружкой закричали:

— Вот тебе на!..

— Прошла!..

— Вот и надейся на вешний лед!..

— Приехали...

Совсем по-летнему разбежалась да растеклась Нерчита. Между черных берегов в воде небо голубеет и облака плывут. Криком своим подняли мы с воды стаю уток и смотрели на них, пока из виду не скрылись. И долго мы стояли, как одурелые, пока не заговорил Мартын:

— Надо в верховья ехать, до лесных мест. Без мала десять побердо наберется. А там плот срубим и переедем. — И вздохнул: — Олешки-то довезут ли?..

Крюк в сто верст туда да сто обратно — не велика радость. Ткнул Мартын своего вожжевого хорею не по-доброму и поехал вдоль берега. А мы — хотим, не хотим — за Мартыном тянемся. Берег уже весь протаял и стоял перед глазами, ровный и пестрый, разукрашенный мхами, ягодниками вороничными да листиками брусничными. И на открытую вольную вешнюю воду глазам вновинку и любо смотреть, а в голове все одно бродит:

«И чего это воду раньше времени прорвало?!»

Река-то, конечно, в свое время прокатилась, сами мы не во-время, беспуты, по распути ехали. А все на реку обиду держим. Шутка оказать: такой кривуль да на таких оленях огибать надо!

Едем мы невеселы — головы повесили, будто один на другого сердимся. Чтобы укоротить нежеланный путь, режем носки да объезжаем лахты¹. И вот вывернулись мы из-за одного мыска, выехали к берегу и снова ахнули: через всю Нерчиту — от берега до берега — неширокий, а высокий, как гора, затор стоит.

Как гуси загоготали мы, все горе забыли, всю печаль откинули. Выбежали мы, словно зайцы, на льдину, пробуем — можно ли переезжать. Ну, видим: коли нас лед держит, так и оленей понесет. Олень, он не хуже человека путь под ногой чует.

Как по мосту дырявому проскочили мы Нерчиту прямо на санях, без распряжки, да тут же, на берегу, и огнище развели. На радостях хоть пир пировать готовы.

Не успели мы чайник скипятить, слышим — река загремела, будто каленых камней в воду набросали. Наш мостик трянуло и круто понесло по быстри.

— Прощайте! — кричим мы льдинам. — Спасибо, что нас дождались!

Раздернуло затор по всей реке, льдинка льдинку догоняет. И вот на том месте, по которому мы только что проехали, — смотрим, — чистая синяя вода, будто лед тут никогда и не был.

Любой из нас к Сявте рвался, а ускочить никуда не могли: вся сила не в нас была, а в оленях. Стоим мы, с ноги на ногу переступываем да на олешек посматриваем. Ходят они — к земле пригибаются, ноги у них заплетаются. Едят олени с жадностью, а отдыхать им еще больше охота. И не столько их ходит, сколько лежит, разве что землю нюхнуть успели. С часок отдохнули и за еду взялись.

¹ Лахта — вогнутая часть речного заворота.



Еда у оленей в эту пору скудная: ягель по варюям да почки на кустах мелкоярника. Ягель — это особый белый мох, иногда чуть сероватый, иногда синевой отдает, иногда чисто-серебряный, даже блестит. Растет он гнездами да кучками, в каждом гнезде много-много ягелинок, и каждая ягелинка как из серебра вылита. И диву даешься: как это от ягеля набирает олень и силу свою, и резвость, и красу...

Снова мы варим мясо в Мартыновом котле. Кладем мы мяса килограмма четыре и кипятим до той поры, пока оно нашим зубам подначально станет. Олень-то был вымученный да и немолодой, и мясо зубам туго поддавалось. Я говорю девушкам:

— Вы от меня не отставайте, не думайте, что зубы худы: молодой на зуб надеется, а старый — на горло.

Суп получился наварный да крепкий. С дороги выпьешь кружку супа — как вино по жилкам загуляет. А кончаем все равно одним и тем же третьим блюдом — чаем.

После сытного обеда все спать завалились. А я все ногам волю даю. А ноги у меня любят побродить по тундре, глаза охочи посмотреть, норовят весь белый свет охватить. Я и прежде, на путине, — только к берегу пристали — тороплюсь попереди других в тундру забежать. Не успеешь выйти, смотришь — утку али куропатку с гнезда согнала, а там яички лежат одно к одному. Гнезда два-три найду — полный подол яиц в лодку ташу.

— Уж не сама ли ты посадила? — спрашивают женки.

Вот и теперь на ту же охоту иду. Издали тундра вроде и неживая, а шаг ступишь — везде на что-нибудь живое натолкнешься. Вот вижу, куропоть помалу перелетывает: совсем близко подпустит — и снова на десяток шагов отлетит. И видно мне, что голова и шея у куроптя красным перьем покрылись.

— Комаров, — говорю, — ждешь, красный накомарник надел?..

А сама смекаю, что отводит меня куропоть от гнезда. Должно быть, вблизи где-нибудь сидит на яйцах куроптиха. Не беру я тогда во внимание куроптя и начинаю

искать гнездо. Брожу вокруг и смотрю: не сидит ли где куропатка? А вот заметить ее никак нельзя, можно только набрести на нее. Выпорхнула куропатка из-под самых моих ног, почти вся серая, — за какую-нибудь неделю посерела. Подлетела немножко, села вблизи и смотрит, и бегаёт, места прибрать не может, и крыльем о землю бьет.

Нагибаюсь я к гнезду, считаю яйца — пять штук: значит пять дней назад нестись начала. Яички у куропаток маленькие, меньше уточьих и круглей. Цвета они коричневого, с сероватыми пятнышками.

Беру я яички, — под ними, как в колыбельке, устлано прошлогодней травкой и поверху покрыто пухом.

— Новых насадишь, — говорю я куроптихе.

Знаю я, что куроптиха садит в гнездо до семнадцати яиц, — хватит их и мне на еду, и ей для приплоду.

Иду я прочь, а куроптиха все больше беспокоится. Пока я близко, она перелетает с холмышка на холмышек. А еще отойду — прилетит она ко гнезду и бьется, печалуется: то выше поднимется, то к земле припадет. Подлетит и казак-куропотъ, вот и откроют они беседу. У куроптихи весной голосу нет, она тихо, вроде как шопотом, говорит ему что-то. Поймет, видно, тот, в чем дело, да как закричит, закабаркает по-своему, на весь свой голос, — если спишь — проснешься. И долго они судачат про свою печаль, пока куроптихе снова черед придет яйца сажать...

Иду я вниз вдоль Нерчиты, к тому месту, против которого мы в первый раз к реке выехали и где уток да гусей видели.

«Не иначе, — думаю, — там гнезда должны быть».

Гуси да лебеди раньше всей тундровой птицы яйца садить начинают. Часто, когда они еще летят, яйцо уже торопит матку садиться да гнездо вить. А гуси свое место знают и раньше времени, где попало, не садятся. И садится матка где-нибудь возле

речных заплесков, выбросит яйцо в таком беспутном месте да тут его и оставит, сама дальше летит. Пролежит это выметное яйцо до той поры, пока человек ли подымет, зверь ли растопчет, птица ли расклюет. И не даст то яйцо ни роду, ни племени.

Иду я по край кряжика и засматриваю в каждый кустик, в травяные места, нет ли тут гусяного али уточьего гнезда. Печорская наша пословица баёт: чего ищешь, то и найдешь, чего нальешь — то и выпьешь. И тут мне долго искать не пришлось. Набрела я сначала на гусяное гнездо. Шагов за двадцать от меня встрепенулась и поднялась пара гусей — казак и матка. Вдвоем они заготовали да крыльем зашумели так, что я удрогнула.

Попуталась я еще немножко в кустиках да в траве и доискалась до гусяного гнезда. В чистой траве сплетено из травы же впромесь с пухом гнездо. И мягко в нем, как в перине, и тепло: от земли никакой холод не пройдет. На Печоре у нас вместе с яйцами берут и весь гнездовой пух. Этот пух — самый дорогой, самые мягкие подушки из него выходят. А еще гнездовой пух идет нашим бабкам-знахаркам: намочат они его гарным маслом¹ и большим к нарывам, как компресс, прикладывают. Вата, если ее смочить маслом, отвердеет, а пух так и останется мягким. А я пух не взяла: ни к чему он мне в дороге, да и гусей жалко. Садить сюда они яйца больше не будут, но пухом готовым для нового гнезда все-таки попользуются. А полдесяток гусяных яиц, белых, как куриные, только крупнее, — это моя добыча.

За долгий вешний день я набродиться и выспаться успела. А к вечеру подул свежий ветер, нанес с моря пургу. Тундровое дело такое: с одной стороны пекет, с другой — волокет. Днем пригреет, а ночью снегом порошит. У нас в Нижнепечорье и то бывает, что в июле пургу наносит. Помню, лет тридцать назад 9 июля пурга разыгралась.

Ночью Мартын снова заторопил нас. Заюрковали² мы олешков, запрягли и поехали. По свежему снежку отдохнувшие олени нас побойчей потащили. Оставили мы за собой

¹ Гарное масло — иначе «деревянное» масло — шло для лампы.

² Юрковать — загонять в юрок — загон.

Нерчиту, даже назад не оглянулись. Через полчаса езды Мартын остановился и зовет всех нас к себе. Подходим, а он на землю показывает.

— Медведь, — говорит.

Смотрим и видим: поперек нашего пути по белому снегу идет свежий медвежий след. Лапа у него, судя по следу, совсем как человечья, только когтистая.

— Совсем сейчас прошел, — говорит Петря.

Медведь в тундре мельче лесного, а такой же бурый.

Просыпается он весной, как только светлая пора и теплые дни придут, и начинает бродяжничать. К весне он облезет, шерсть почти серой делается, сам худой, голодный, сердитый. И люди в эту пору остерегаются медведя.

По утреннику да после пурги мы ехали и радовались: оленям облегченье, нам утешенье. По такой погоде дорога скоро убывает.

По болотам едем — вода на них тоненьким ледком подернута. Сначала и хорошо было ехать, а пришло настоящее утро, солнце поднялось — ледок не стал держать оленей. На каждом шагу олени проступаются, и лед им ноги режет.

Потом тундра стала суше, но холмистой. Взволновалась она, как море в свежий ветерок, заколыхалась горбами да холмами, зарябила сопочками. Вот и едем мы с горба на горб. Поверху едем — солнце перед глазами, снег блестит нестерпимо, весна в полную пору. Спустился с горба в ляговину — и солнце скроется, и сумрачней станет, и зазимками пахнет. Без конца шли горбы, и ни одному никто не знал названья: на всех веках окрестить их и имя им дать никто не удосужился.

Спустились мы с одного горба и видим — дорогу нам ручей пересек. Воды в него много нагнало, вот он и расшумелся, как добрый жеребец несется да ржет. Глядеть-то на него страх берет, а нам одолевать его надо. Вперед ехать трудно и назад — тяжело. Первый Петря поехал. Меня он оставил на берегу, чтобы налегке путь-дорогу изведать. Встал Петря стоймя на сани

и погнал оленей в воду. И видим мы, что вода в ручье и неглубокая — с метр, а под водой жидкий снег. Оленям и плыть нельзя, и брести невозможно: снег — не вода, ноги в него уходят и как в глине залипают. А вода той порой с санями воюет — вот-вот перевернет. Много раз останавливались у Петри олени, а все же выскочили на другой берег.

По готовому проследью и все другие перетянулись да переволоклись через ручей. Остались только мы с Мартыном. Он взял на прицеп к своим саням еще упряжку оленей и на вторые сани сложил весь свой багаж, а мне велел на самый верх забраться, чтобы не подмокнуть. Поехал Мартын, а я в багаж вцепилась, держусь крепко. Снег под водой, наверно, был уже здорово размят да растоптан. И вот один полоз у моих саней осел вниз в подводном снегу, сани припружились¹, а потом и вовсе повернулись.

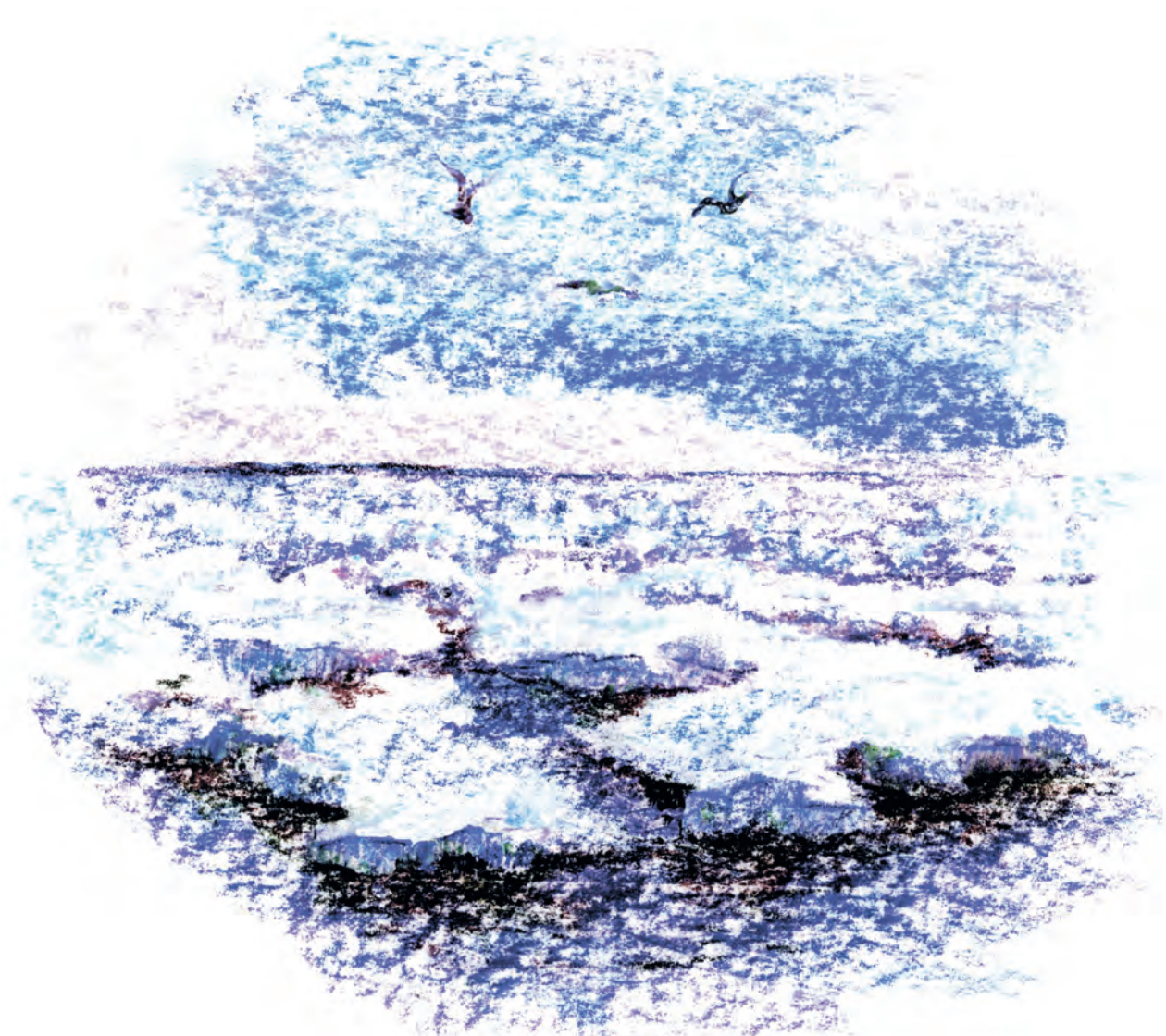
И сползла я с вещей, как с горки скатилась, в воду. Поймала я одной рукой вязку, которой были вещи примотаны, и держусь да реву. Держусь, а водой меня, полощет. Ручей-то ретивый, вот и наскაკивает на меня, от вязки отрывает. Вода под малицу до плеч налилась, и повернуться мне в этой одежде невозможно. Пока люди помогать спохватились, я досыта ледяной воды нахлебалась. Да и на помощь-то мне враз не ускочишь. С другого берега олени в воду не идут, а Мартыновы олени оторвались от моих саней и оставили меня одну. Первым подъехал Илья, вскочил на Мартынов багаж и оттуда меня за вязку вытянул сначала на свои нарты, а потом и на берег.

Одели на меня, прямо на мокрое платье, леонтьевский вывернутый совик, вместо мокрых липтов² подвертели на ноги сухие портянки. Подпоясалась я веревкой, руки в пазухе грею, у самой зуб на зуб не приходит.

Когда в воде лежала, не было так холодно. Ветер был проносный, сквозь одежду проносит, а мне, мокрой, много ли надо.

¹ Припружились — накренились.

² Липты — меховые чулки шерстью внутрь.



И не пешком ведь иду, — снова еду. Хоть до смерти замерзай на санях, а не остановишься: место беспутное, оленям корму нет. И только когда выехали на сухую горбовинку, остановились.

На горбовинке этой мы нашли старое чумовище: здесь когда-то стояли ненцы. Тут и щепы у них натесана, и дров дивно оставлено. Кругом чумовища оленьи рога раскиданы; видно, что тут не один день стояли, а житьем жили.

Скипятили девушки чаю, отпоили, отогрели меня. А меня уж не от холода, а сама не пойму, отчего снова дрожь взяла. И легла я, и укрылась чем могла, а все дрожу. Вспомню, как в воде-снежище барахталась, так мороз по коже дерет. А к вечеру у меня открылся жар. И знаю, что в тундре болеть нельзя, борюсь, а ничего поделать не могу. Всю ночь я и не спала, и не жила. На другой день из-за меня снова стояли, ждали, пока хворь выйдет. И только на другую ночь мне стало легче. Утром люди поднимаются, а у меня уж и чайник для них согрет.

— Вчера, — говорю, — готовый чай пить не могла, а нынче сама согрела.

— Значит, ехать можно, — говорит Мартын. — Олешки хорошо отдохнули.

Вечером подъезжаем к реке.

— Нерчита, — говорит Мартын.

— Чего ты, — говорю, — плетешь: двое суток проехали, да туда же и приехали?

— Нет, — говорит, — это не та Нерчита, и не вторая, а уж третья. Ту Нерчиту Верхней зовут. Среднюю мы верхом объехали, она ручьями взялась, и в одном ручье ты еще искупалась. А эта — Нижняя Нерчита.

Дивовались мы, что на этой Нерчите лед еще не пронесло. Петря объяснил, что чем дальше к востоку, тем реки поздней выходят. Совсем как гостей желанных ждали нас реки, и везде для нас были готовы переходы да переезды.

— В самом деле, — говорю, — кто-то из нас счастливый едет. И до того счастливый, что страшно за него делается.

По тощему да по дырявому ледку нам уж за привычку было перебираться. Проскочим со льдинки на льдинку над полым местом — и делом не считаем. Оброним оленей в воду да обратно на лед их добудем, — и как будто так и надо.

После Нижней Нерчиты пошла тундра гористая да лесистая. Под горку олешки еще перебирают ногами, а в гору только с великим боем идут. Под горку — бегом, а на горку — стягóm. В лесках снегу еще немало осталось, и олени через него чуть не вплавь перебирались; он и жидкий, как вода, а ноги оленям путает. Ручьи пролились и реки прошли, а снег в лесках все еще глубокий стоит. В таких местах да за холмами снег здесь иной год до нового снега держится.

Проехали мы после Нижней Нерчиты еще с десятков километров и остановились в одном леске. Где любо уму — тут и становище выбираем. Становища ненцы выбирают там, где и корму оленям вдоволь, и есть чем глаза порадовать. Вот и здесь остановились мы в таком месте, что глаза разбегаются. Лесок наш похож на остров в море-океане. И вдалась в лесок тундра, как морской залив. Не доходя лесного берега, стоит небольшой пригорок, словно волна морская катилась с моря, не докатилась, остановилась да так и застыла. Вот на этом пригорке и раскинули мы свое становище: на самом гребешке костер разожгли, а сани вокруг костра сдвинули. На еловых лапах раскинуты вокруг огня наши совики да малицы. И лежим мы на них, спинами о сани обвалилися и любимся на ночную вешнюю зарю.

Каждый год об это время весны сходятся над полуночной стороной две зари, как две сестры. Вот мы и смотрим да любимся на редкую эту встречу двух сестер-красавиц, на веселое их гулянье.

Видим мы, как родится и зреет, и наливается красой старшая сестра — вечерняя заря-заряница, красная девица в парчовом снаряде. Открашивает он и золотом, и чистым серебром, и бархатом разных цветов. И все небо — как голубой шелк, а на нем золотые тычиночки едва-едва заметны: звезды.

Только успела заря вечерняя войти в полную красу, разметнуть свое дорогое платье по небу, а навстречу ей младшая сестра-красавица — утренняя заря в небо взметнулась, как жар-птица сказочная. И видно нам, что младшая сестра ни обличьем, ни снарядом — ничем старшей не уступит: и лицом не хуже, и плечом не уже. Возьмутся сестры в обнимку и стоят, тундру- матушку радуют, взвеселят все, что есть в ней живого. Мечут они с высоты лучи на тундру, и вся она — со своими боровинками, перелесками, озерами и реками — как будто золотыми да серебряными нитками заткана. И каждая птица проснется от крепкого сна, взвеселится, и пропоет каждая, как может, свою песню своим голосом. И каждый зверь поглядит на полночную сторону и тоже, наверно, радуется и ликует и спать ляжет только по потух зари. И каждая рыбка выглянет серебряным глазом из своего водяного царства и посмотрит на земную красу, краше которой не бывает.

И мы смотрели в оба глаза до той поры, пока обе зари замкнулись. И все молчали. Когда зори потухли под солнцем, я спрашиваю наших девушек:

— Отгадайте, девушки, загадку: заря-заряница, красная девица, по лугу ходила, ключи обронила, месяц видел, солнце скрыло?

Дуся и Зина в один голос отвечают:

— Роса.

И тут же просят:

— Спать нам неохота: расскажи, Маремьяна Романовна, сказку.

— Про что, — говорю, — рассказать вам: про зверей ли рысучих, про птиц ли летучих, про крестьян-мужиков, али про царей, али про разбойников, али про волшебников?

Девушки ответить не знают что.

— Что надумаешь, то и слушать будем.

— Прошлый раз, — говорю, — я вам небывальщины рассказала, а правды в них, бывает¹, меньше, чем в сказках. Деды наши про ковер-самолет думали, а теперь самолеты эти над нашими головами летают, про сапоги-скороходы сказывали, а теперь люди их надели, и сапоги эти разных фасонов: и поезда, и машины, и пароходы, и лодки самоходные. А все началось со сказки. Вот одну такую сказку я вам и расскажу. Слышала я ее в Виске от одной слепой сказочницы, Калерьи Ивановны Коткиной, и называется та сказка:

6

«Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, а у него сын и дочка. Сына звали Иваном, а дочку — Марфой.

Вот помер царь, и сыну жениться надо. И не знает он — откуда ему невесту достать.

Задумал он не в своей державе невесту брать, за море ехать. А у него были потюремщики, в тюрьме сидели.

И наказывает он сестре:

— Пой-корми потюремщиков, что сама кушаешь, тем и их корми.

Вот пустился он в путь-дорогу. Понесла как-то без него сестра обед потюремщикам, а один и говорит:

— Куда это у тебя брат отправился?

— Отправился, — говорит Марфа, — судьбу искать, невесту себе.

— Ну, так выпусти-ко меня на время.

— Как я тебя выпущу, когда брат не велел?

— Подумаешь, — говорит, — не велел! А ты выпусти. Без меня ему невесту все равно не найти. А я ему найду невесту.

¹ Бывает — может быть.

— А как тебя звать-то? — спрашивает Марфа.

— Меня, — говорит, — зовут Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул. — И увещевает Марфу: — Не сумлевайся, что не вернусь.

Хотелось Марфе, чтоб Иван-царевич с невестой вернулся. Выпустила она потюремщика и сказала:

— Дело сделаешь да вернешься — замуж за тебя пойду.

Отправился Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул. Долго ли шел, коротко ли — дошел до избушки. Стоит избушка на курьих ножках об одном окошке. Около избушки два мальчика злятся и дерутся, плачут и хохочут.

— Здравствуйте, ребятки! О чем это плачете и смеетесь?

— Да вот, дяденька, оставил нам дедушко сапоги-скороходы, а мы их разделить не можем, раздели нам, дяденька.

— Ладно, — говорит. — А умеете вы стрелками стрелять?

— Стрелять-то, — говорят, — и умеем, да только стрелок нет.

Дал он им по стрелке.

— У кого, — говорит, — стрелка дале падет и кто от той стрелы первый прибежит ко мне, тот и возьмет сапоги-скороходы.

Стрелили те, побежали смотреть. А он надел сапоги да и был таков. Прибежали ребятки, а — ни дяденьки, ни сапогов.

— Спасибо, — говорят, дяденьке: нам теперь и драться не надо.

Идет опять вперед Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул. Долго ли, коротко ли шел — опять избушка стоит, а у той избушки два других мальчика дерутся и зубятся, плачут и смеются.

— Что это вы, ребятки, деретесь-зубитесь?

— Раздели, — говорят, — нас, дяденька. В том мы деремся-зубимся, что оставил нам дедушко в остатки ковер-самолет. Делим мы его и никак разделить не можем.

— А умеете вы стрелками стрелять? Вот стрельте, — говорит, — которого стрела дале падет да от той стрелы кто первый ко мне прибежит, тот и возьмет ковер-самолет.

Ну, те и стрелили. Пока бегали, он в ту пору взял ковер-самолет и ушел. Прибежали они, а ковра нет.

— Спасибо, — говорят, — дяденьке, что взял: нам драться не надо.

Еще вперед пошел Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул. Подошел опять к избушке на курьей ножке. А около этой избушки две девушки дерутся, зубятся, плачут, смеются, хохочут.

— Что вы, девушки, плачете, смеетесь, деретесь?

— А вот что, дяденька, мы тебе скажем. Была у нас бабушка, и оставила нам в остатки колпак-невидимко. Так вот, мы делим, а разделить не можем.

— А вы, — говорит, — умеете стрелить?

— Как, — говорят, — не умеем...

Стрелили они, а пока бегали, взял он колпак-невидимко, надел его, — да и был таков. Прибежали девушки, а ни его, ни колпака и следу нет.

И обрадовались девушки:

— Спасибо дяденьке, что унес: нам и драться не надо.

Взял Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул ковер-самолет, сел на него да и сказал:

— Подымайся, ковер-самолет, выше лесу стоячего, ниже облака ходячего, к синему морю.

Долго ли летел, коротко ли и видит — синее море. Нашел красовитое место и велит:

— Становися, ковер-самолет.

Остановился он на берегу синего моря и видит: по синему морю корабль бежит. И кричит:

— Приворачивайте, корабельщики, сюда!

Пристал корабль, а он и говорит:

— Возьмите, корабельщики, меня, человека бродяжного, к себе на корабль.

Приняли его корабельщики и побежали дальше. А он знает, что едет на этом корабле Иван-царевич, и выспрашивает:

— Чьи вы будете? Куда вы едете?

А Иван отвечает:

— Поехал я судьбу себе искать, невесту.

— Знаю я тебе невесту, — говорит Сутул-горбат. — В одном городе живет царь Султан. У того Султана есть дочь Елена Прекрасная. Вот бы ее взять.

А Иван и отвечает:

— Может, ты и сватом от меня пойдешь?

— Как не пойду. Могу сходить... Только что я говорю, то и ты говори.

Вот подъехали они к городу и пошли свататься к царю Султану. Пришли к царю Султану, низко поклонились. Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул и говорит:

— Твой меч, а наша голова с плеч. Я пришел о добром деле — о сватовстве поговорить. Сватается к твоей любимой дочери жених из-за тридевять морей, из-за тридевять земель, из тридесятого царства, из тридесятого государства. И зовут жениха Иван-царевич.

Принял царь Султан ихнюю просьбу. Позвал он свою дочь любимую Елену Прекрасную и говорит:

— Ну, моя дочь любимая, к тебе стали женихи свататься.

Приняла она их и говорит:

— А знаете вы, что царские дочки без службы замуж не идут? Накину я на вас службу. Есть ли в ваших землях медные леса, какие у нас растут, — тогда пойду.

— Как нет, — говорит Сутул-горбат, — неси только ты свои, а мы принесем.

Проводил Сутул-горбат Ивана-царевича на корабль, а сам надел колпак-невидимко, да и зашел в комнату, где Елена Прекрасная жила. А она там с мамками да с няньками, с верными служанками собирается в свои медные леса ехать.

И отправился Сутул-горбат за ними следом. А они его не видят. Сел он на ковер-самолет и смотрит, где они идут. Видит, как пришли они к медным лесам и рвут ветки с земли. А Сутул-горбат ломает ветки повыше, самые казистые гроздики. Наломал большой веник и улетел на ковре-самолете к Ивану-царевичу на корабль.

Утром встают и идут к царю.

— Ну, царь Султан, мы службу сослужили.

Вышла Елена Прекрасная со своими гроздиками.

— Таки ли у вас, покажите.

Сутул-горбат и говорит:

— Мы такими шесток пашем. А у нас вот какие.

— Ох, какие, — говорит, — баские да казистые, лучше наших.

Отец говорит:

— Видно, быть тебе за Иваном-царевичем.

— Нет, — говорит Елена Прекрасная, — пусть еще службу сослужит. Есть ли, — говорит, — у вас леса серебряные, как у нас растут? Если есть — пойду.

— Есть, — говорит Сутул-горбат, — как нету.

Вот и опять стала царевна готовиться. Пошла она с мамками да с няньками, да с верными подружками во свои леса серебряные. А Сутул-горбат колпак-невидимко надел, сапоги-скороходы натянул и удирает за ними.

Пришел за ними в сад, где они ветвинки ломают, поднялся на ковре-самолете к вершинам и ломает там, только листья сыплются.

Глядит Елена Прекрасная наверх.

— Что это, — говорит, — вихря нет, а леса колеблются?

Улетел Сутул-горбат на ковре-самолете к Ивану-царевичу на корабль.

Опять пошли к царю с веником из серебряных веток. А Иван-царевич и не знает, что есть у них серебряные ветки. Пришли к царю.

— Царь Султан, Елена Прекрасная, сослужили службу.

Она и опять принесла свои веточки, показала. А Сутул-горбат вытащил свой веник из-под полы:

— А теперь смотрите, каковы наши леса серебряные.

Веник, ясно, не маленький, показистей царевнина.

— Хороши, — говорит царевна, — ваши леса, лучше наших. Красивые. А вот есть ли у вас леса золотые?

— А как, — говорит, — нету. Несите свои, а мы принесем: золотым веником мы свой корабль пашем.

Тем же побытом, как и раньше, добыл Сутул-горбат золотой веник. Наутро приходят, опять показывают.

Царь Султан и говорит:

— Ах, какие леса! Видно, не жить тебе, дочь любимая, у меня.

— А есть ли еще, — доступает царевна, — у вас серебряные волосы с жемчужными кончиками?

— Да как нету, е-е-есть.

Вот и вышел Иван-царевич, а Сутул-горбат надел колпак-невидимко и зашел к царевне в горницу, где они едят-кушают с нянюшками да с девушками. И слышит — куда-то они ехать собираются. И Сутул-горбат сидит между ними, сидит и пьет да ест-кушает с одного с ними блюда. Они баятся¹, в кою пору возьмут понемножку, а он горстью цапает.

А те смеются:

— Есть только начали, а блюдо пустое.

Наелся Сутул-горбат, напился, вышел вместе с ними на улицу и следом пошел. Подошли они к синему морю. Елена Прекрасная со своими нянюшками да верными служаночками села в легкую шлюпочку, а он над ними на ковре-самолете летит. Едут они по синю морю, а Сутул-горбат пригнетса к лодке и раскачивает ее.

— Что это с нами? — удивляется царевна. — Ветра нет, а нас качает.

Стала Елена Прекрасная своего дедушку выкликать:

— Дедушко мой, любимый мой, царь морской, выйди ко мне, простимся с тобой: отдаст меня тятенька замуж в дальние города за Ивана-царевича.

Вот и вышел со дна моря дедушко, царь морской.

И видит Сутул-горбат, что у того дедушки серебряные волосы, а на них жемчужные кончики.

— Дай, — говорит царевна, — я в последний раз у тебя в головушке поищу.

Начала она искать. Ножиком-вшивиком волоски понемножку забирает, а Сутул-горбат в то время волосы горстью рвет.

— Ой, ой, ой, — воет царь морской, — ой, внучушка, больно!

— Что ты, дедушко! Ведь я тихонько.

¹ Баятся — выставляют напоказ свою красу-басу; в данном случае щеголяют своей воспитанностью.

Из головы и из бороды она понемножку насбирывает, а Сутул-горбат все рвет, а царь морской ревет.

И до трех раз так было.

— Ну, ладно, — говорит Елена Прекрасная, — Иван-царевич там торопится. Давай простимся.

Прощается она с ним. А он приосядет в воду да опять приподнимется. До трех раз так было. А Сутул-горбату это и долго показалось. Когда царь морской поднялся над морем третий раз, Сутул-горбат взял да и оторвал ему голову, положил в глуб карман и улетел.

— Прощайтесь, — говорит, — с туловом. Да и то больше не покажется.

Когда приехала царевна домой, они опять пошли. Наладил¹ Сутул-горбат серебряные волосы с жемчужными кончиками и показал царю.

— Ой, — говорит Елена Прекрасная, — видно, ваш дедушко еще лучше.

Справили свадьбу, попиrowали, постоловали да и повезли с собой Елену Прекрасную.

Долго ли, коротко ли бежал корабль по синю морю, а и вздумала Елена Прекрасная от своего жениха Ивана-царевича сбежать. Когда Сутул-горбат уснул крепко, подошла она, взяла сапоги-скороходы, взяла ковер-самолет, взяла колпак-невидимко и улетела. Прохватились те утром, а ни невесты, ничего нет.

— Давай, Иван-царевич, — говорит Сутул-горбат, — приставай на этот остров, выпусти меня, а сам поезжай обратно к тому городу, где царь Султан живет. Коли найду ее да обратно высватаю, так мы забьем барабанами, заиграем музыками, зазвоним колоколами. Тогда к царю Султану приходи, она уже готова будет.

И сказал час и минуты, которые если минуют — значит Сутул-горбата жьва нет и надо Ивану-царевичу ехать обратно.

¹ Наладил — приготовил.

Выпустил Иван-царевич Сутул-горбата на остров, а сам поехал куда велено.

Пошел Сутул-горбат. Долго ли шел, коротко ли шел и нашел один свой сапог-скороход. Немножко еще подошел — и второй нашел.

— Вот нынче я — воин, — говорит Сутул-горбат. — Много места могу обойти.

Надел сапоги и пошел. Шел-шел, нашел — растут дикие яблоки. Сплел он корзиночку из виц¹ и сколько ли в эту корзиночку яблок наклал.

— Быват, — говорит, — мне годятся. Съем-ко я на пробу одно, не дельно ли оно будет.

Съел одно яблоко — рога у него выросли, второе съел — хвост прирос, третье съел — зверем пахнуть стал. Одичал Сутул-горбат, забегал по садам. Бегал-бегал он в дикости и на другой сад набежал. А в саду тоже яблоки. Съел он одно яблочко — зверем пахнуть перестал, второе съел — хвост отпал, третье съел — рога отвалились, снова человеком стал. Наложил он в корзину и этих яблок и пошел в сапогах-скороходах.

Вот и тот город, где Елена Прекрасная живет. Преобразился он старым старичком, идет к царскому дому. Видит — у дома служанка белье полощет.

— Купи у меня яблочко, — говорит Сутул-горбат.

Взяла она яблочко, съела и помолодела, покрасивела.

Пришла ко двору, вешает платье на жердь, а Елена Прекрасная и не узнала ее.

— Что это ты на чужие огороды вешаешь?

— Так ведь я ваша служанка Марья.

— Нет, Марья не такая.

— А я это яблочко у прохожего человека купила и съела.

Посылает царевна служанку:

— Найди старика, купи и мне.

Пошла служанка, догнала старика.

— Продай, — говорит, — еще, царевна яблок хочет.

Тот и продал ей диких яблок.

— Отдай, — говорит, — в той самой комнате, где она живет.

Съела царевна одно яблочко.

— Ах, какое вкусное!

И съела еще два. А сама в зеркало смотрится — хороша ли, мол, я? А у ней рога и хвост приросли, и зверем пахнуть стала. И все ломает, и всех избивает. Столы все рогами истыкала, и никто к ней подойти не смеет: кто подойдет, того и топчет. Стали ее на связках ременных держать. Гул прошел, что царевна одичала. И не может никто ее вылечить. Услыхал Сутул-горбат, что лекаря ищут, пришел к царскому дому, где Елена Прекрасная связана лежит. Взялся он ее лечить.

— Могу, — говорит, — ее вылечить. Истопите, — говорит, — баню; надо мне узнать: какая у ней боль да дикость? Я буду, — говорит, — лечить, а вы в ту пору в барабаны бейте, в музыку играйте, в колокола звоните, постоянно и беспрестанно звоните.

И повели ее в баню. И стали в колокола звонить, в музыку играть, в барабаны бить. А он стал ее по-своему учить.

Взял Сутул-горбат железный прут-понюжалку и зачал ее стегать.

— Не выходила ли ты замуж? — сказывай.

И стегает, и стегает. А та молчит, не сказывает. Бьет он ее снова.

— Не выходила ли куда? Не украла ли что?

А она все молчит. Дотуда он достегал ее, что весь железный прут выломал. Начал тогда оловянным лупить. И тот выломал. А она все молчит. Достал он тогда медный

¹ Вицы — прутьё.

прут и начал медным жарить. Тот и гнется, а не ломается. Лупил-лупил ее, ей и больно, и шатко стало. Когда раны по телу пошли, она и заговорила:

— Ой-ой, выходила за Ивана-царевича... Ой, украла, украла сапоги-скороходы, ковер-самолет и колпак-невидимко...

— Отдавай, — говорит Сутул-горбат.

Вот и рассказала она, что сапоги-скороходы бросила, ковер-самолет на стене повешен, а колпак-невидимко в комодке лежит.

Пока он стегал ее, из ней разной твари — живулек каких ли, мышей да лягушек — вот столько вышло. Убрали все это, обмыли царевну.

Тогда стал он царевну молодильными яблоками кормить. У ней и рога, и хвост отпали, и зверем пахнуть перестала, раны закрылись, и красивше прежнего царевна поднялась.

Вывел он ее и оказывает царю Султану:

— Ну, царь Султан, здорова ваша дочка, Елена Прекрасная!

— Отдаю, — говорит царь, — дочку за тебя. И еще отдаю тебе полжитья-полбытья, пол-именья своего. А после долга живота на царство посажу.

— Пусть я добро тебе доспел¹, — говорит Сутул-горбат. — А только, пожалуй, я-то стар уже стал, то вы за друга моего, за Ивана-царевича, царевну замуж отдайте.

Согласился царь.

— Да вот еще, — говорит Сутул-горбат, — еще одно. Может быть, я во хмелю-то и диковатый, может быть, после свадьбы чего и наделаю, так уж не вели меня казнить — вели миловать.

Согласился царь.

А на музыку, на барабаны, на звон колокольный Иван-царевич той порой и пришел.

— Так ведь я за этого выходила уж. Опять за того же, — говорит царевна.

Сыграли свадьбу, царь Султан отправил их и сам с ними до корабля съездил.

А Сутул-горбат и говорит:

— Нынче ты, Иван-царевич, поезжай домой. Невеста твоя больше никуда не сбежит. А я здесь останусь. Простимся с тобой, а когда приедешь домой, сядешь за столы белодубовые — вспомни меня: «Где-то, — скажи, — у меня брат названный, что сватом ходил, — Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул?»

Простились они, и побежал корабль в море. А Сутул-горбат надел сапоги-скороходы, а колпак-невидимко да ковер-самолет подмышку и снова в город бродягой пришел. И что мог, то и творил: у иного хлевы разломал, у иного растоптал, кого избил, у кого и окошко разбил. Он это царю Султану в отсмешку делал. Все с жалобами к царю идут, а царь все прощает Сутул-горбату, раз он еще раньше прощен.

А потом сел Сутул-горбат на ковер-самолет, был, да и нет.

Долго ли он летел, коротко ли летел, прилетает впереди Ивана-царевича в его царство, к Марфе-царевне идет:

— Здравствуйте, Марфа-царевна. Выпускала ты меня из тюрьмы, а вот я и вернулся. Встречай брата родимого с невестой, а меня обратно в тюрьму запусти. Только, как сядет Иван-царевич за столы да будет меня поминать, приди ко мне, выпусти и серебряное блюдо пустое на стол поставь.

Впустила она Сутул-горбата в тюрьму.

И вот увидели все, что морем корабль бежит. Она все приготовила, барабаны забили, музыка загремела, колокола затрзвонили. Встретила сестра брата. Завели Елену Прекрасную за столы белодубовые пировать-столовать. Иван-царевич сел за стол и говорит:

¹ Доспел — сделал.

— Где-то у меня брат названный, сватом ходил — Сутул-горбат, на перед покляп, глуб карман, широк картаул?

А Марфа-царевна ходит и не слышит. На второй раз сказал Иван-царевич, она снова не слышит. А на третий раз она услышала, побежала и выпустила Сутул-горбата.

Зашел он на свадебный пир, вытащил из глубокого кармана, из широка картаула голову морского царя, положил на серебряное блюдо.

— Из-за этой головы, — говорит, — попала к нам Елена Прекрасная. И чтобы за этими же крохами¹ и моя свадьба была.

Взял он Марфу-царевну под руку, сел рядом с Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной, и обе свадьбы справлять начали.

Я тоже там была, тоже пиво пила. И подарили мне новобрачные кафтан в подарки. Я надела и пошла.

А навстречу птичка летит да кричит:

— Синь да хорош...

А мне почуялось:

— Скинь да положь.

Я скинула и положила под кокорой², не знаю под которой.

Потом искала-искала — не нашла...

7

Новый день — новый путь. К полудню мы доехали до какого-то безымянного озера. Оно пересекло нам путь, а перебраться через него было нелегко. Лед

¹ За этим же угощением.

² Кокора — выкорчеванное дерево.

на озере поднялся вместе с водой, а между берегом и льдом пролегли широкие забереги. Берега у озера приглубые, и через такие забереги не подумавши, не сунешься.

Поглядели мы, поглядели, — видим, эти забереги не иначе как лесом надо завалить. Делать нечего, взяли пару топоров и принялись лес рубить да валить. Берега озера заросли высокими елками да березками. Нарубили мы их и мечем через воду: комель на берег, вершину — на лед. Три-четыре деревца перекинешь, и человеку можно итти. Наметали мы леску не в один ряд и вдоль и поперек, застелили мостик лапами еловыми, чтобы олени ног не ломали, и мост получился — не хуже инженерского.

Без большой беды мы и оленей перевели, и сани перетащили на лед. Лед был хоть и толстый, весь в широких трещинах, да олени легко перепрыгивали через них вместе с нартами и снова бежали так, что нога отщелкивала. Худшая беда ждала нас на другом берегу. Берег там низкий, и забереги разлились метров на тридцать. Тут уж моста не вымостишь, да и не из чего его мостить, на льду стоим. Вся надежда была на льдины, которые отколело от берега. Вот мы с ними мучились, сплавляли к одному месту. Эти береговые льдины называют у нас осенщиками. Осенью после дождей из болот да из ручьев вода в озера нальется чуть не через край берега. От первых морозов вдоль берегов намерзнет неширокий припай. А там опять оттепель ударит, на лед воды нагонит; пурга-поносуха тоже снег больше к берегам сбивает: шугу с воды на края мечет. И все это намерзает у берега все толще и толще, вплоть до земли.

Весной, когда снег тает, ручьи с тех же гор да болот начнут в озеро снова воду подбавлять. Вода под береговым льдом подтекает и отъедает его от земли. А когда забереги покажутся, лед-бережник отколется от середового льда, расколется

на куски и будет плавать в заберегах. Вот эти куски льда-осенщика мы и сплавляли да сплавляли, как мост стелили.

А одними хорейми, без багра, со льдинами худо возиться. Упрешься в край льдины, а хорей скользнет по краю — и сам, того и гляди, в воду нырнешь.

Большую льдину привел Мартын. Она стояла метрах в трех от середового льда. Мартын перебросил через полынью два хорей, натащил на них нарты и по ним переполз на льдину. А потом притолкал льдину к нам. Вся беда, что льдины друг ко другу плотно не подведешь: между ними ледяной мелочи много. Не успеешь их свести, а они расходятся как живые. Вот и пошли мы по этому живому мосту: перекинем через полые места нарты да по ним и ползем со льдинки на льдинку.

Лед-осенщик толстый и далеко не доходит до берега. Тут уж ничего не поделаешь. Воды еще больше метра, а нам с последней льдинки пришлось в воду спускаться и вброд брести до берега. Не только ноги промочили, а и сами все вымокли, только голова суха была. Оленей со льда на берег перегнали вплавь.

Только и головы наши недолго сухи оставались. Едва успели мы попасть на берег, полил такой дружный дождь, — как в грозу хорошую, — что у нас ни волоса, ни нитки сухой не осталось. Туча за тучей по небу наваливаются, и видно, что этот дождь не пересидишь, не переждешь. Вижу я, что по-над небу тучи подбеливает, а середину неба свет не проламывает, и говорю:

— Долговекий это дождь. Ждать нечего, ехать надо.

Вот и поехали опять. Ехали мы вдоль другого озера, по берегу. Озеро попалося и кустистое, и водянистое, и травянистое, с кривым и покатым берегом. Ближе по край самой воды пригибались густые кусты и заставляли нас ехать водой. Вода

на нарты заливаются, а мы сидим в воде и воды не чуем: все думаем, как бы с саней не свернуться по окати.

И ехали мы так часа два. Олени до того в воде накупались да по ключью напрыгались, что еле ноги тащили. Кустами и нам, и оленям нахлестало и глаза, и ноги. Чем ближе к Сявте, тем чаще рвалась упряжь. Поминутно ругань слышалась — и кто слышал, тот знал, что это лямка али поводок порвался. Хорошо было Петре да Мартыну. Ножи у них узенькие, им и шила не нужно. Где порвется ремень, они проткнут дырки да сыромятной сшивкой сошьют и опять едут. А у всех других ни ножа, ни топора. Зато на их упряжках каких только веревочек да тряпочек не было навешано, каких только узлов не было навязано. Ненцы — те всякие узлы знают: и прямые — простые, и кривые, и свои — ненецкие, и якорные, и корабельные узлы. А люди новые в тундре узлы бестолковые вяжут, и туго им в пути приходилось.

Когда-никогда выбились мы из воды. Показались бугорки с ягелишком, где можно было оленям хоть немножко на ноги приподняться и покормиться. А у нас чуть не половина оленей были распряжены и за нартами на привязи шли, остальных оленей назад тянут. Кругом и дождь, и сырость, а останавливаться надо. В сырости да в мокре раскинули мы становье. С дорогой да с переправой, с трудами да с хлопотами нам и есть захотелось. В дороге без еды спать не ляжешь. Стали костер разводить, а ни у кого сухой спички нет: у всех размокли. У курителей не только спички, а и табак весь мокрый.

Все сидят злые, Мартын плюется, девки охают, Петря матюкается. Смилостивилась тогда я, объявила свой секрет. Достая из-за пазухи берестяную коробочку, из коробочки сухой спичечный коробок, даю его Петре и говорю:

— У Спаса не без запаса.

Повеселели все. Задымился костерок, загорели дровца. Кто за дровами, кто мясо готовит, кто за водой побежал. А вода рядом под бок плещет, только что в рот не попадает.

В кой час закипел в котле суп, зафыркал чайник. Кто и сушиться пробовал, да как тут сушиться, коли с одного боку сушит, с другого мочит. Шалаш ставить — без пользы, все равно дождь просекает. Хочешь — не хочешь, терпи.

Когда зябнешь, дрема еще пуще долит. Подкинули мы под себя худые, мокрые шкуры оленьи, надернули поверх себя мокрые совиченки и не чуяли, как сон подкрался. Все тело как веревкой связано, а голова как чугунная, и на глаза сон накатывается. Сквозь сон слышишь, как вокруг дождь шумит о прошлогоднее листве, чувствуешь, как обмывает тебе лицо, чуешь, как олени хрюкают, бродя по бугоркам, а ни глаз открыть, ни головы поднять не можешь.

Ночью у костра все очутились: никто больше спать не мог, Мартын ходил к оленям, посмотрел их и распорядился, чтобы все шли пешком. Оленей, которые получше, он выбрал только на одни сани, сложил на них барахлишко понужнее, а сам тоже пошел пешком. С оленями здесь оставался Петря, чтобы привести их, когда они смогут пойти.

С час или с два шли мы по раскисшим болотам, хватая на ходу клюкву-подснежницу, сквозь мелкоярник и сквозь кусты цепкого тундрового ивняка. А потом выбились на воргу¹. Ненецкие ворги-тропы идут не по беспутным, а по выбранным местам: там, где под ногой тверже, где кустов меньше, а где и сквозь кусты идет, там просеки прорублены. Шли мы, не торопясь, с остановками, с перекурками, с разговорами и смехом.

Дождик поливал уже поменьше. Зато чуть за куст плечом заденешь, обольет тебя хуже всякого дождя. Ноги у нас мокрые, тяжелые, как не свои волочатся. А все-таки

¹ Ворга — оленья тропа.

весна есть весна: солнышко проглянет, птичка прочирикает, подснежник — у нас его отзимок зовут — увидишь и сразу живее становишься.

Сколько ли ни шли, объявляет нам Мартын:

— До Сявты полпобердо осталось.

Пять километров нас уже не пугали: не такой конец прошли. Оставил тут Мартын оленей и сани, разобрали мы всю невеликую поклажу и пошли все вместе в Сявту.

Лес встречался уже повыше, больше было берез, ивняк тоже не ниже елок да берез: первая примета, что где-то близко — река.

— Какая здесь река-то? — спрашиваю я Мартына.

— Роговая.

— А чего ее так называли?

— Мамонтовой кости здесь дивно, мы ее рогом зовем.

И верно — вспомнила я, что в наш Нарьян-Марский музей бивни мамонта годов семь назад были привезены с Роговой.

Попрыгали мы с кочки на кочку через какое-то болотце и выпрыгнули прямо на берег Роговой. Не так далеко, за широкой лахтой, мы увидели тот поселок, к которому мы пробивались больше недели. Собрали мы всю воду с кустов по последней лахте, обошли какую-то длинную лыву¹ с озерком и очутились в долгожданной Сявте.

Как раз к тому времени сквозь облака пробилось солнце. Это было 30 мая.

Сявта поменьше Хоседа-Харда, домишки помельче, трубы пониже, дым пожиже.

Деревня-деревней и заросла деревьем. Истопить печку надо — выйди на задворки да дерево сруби, вот тебе и дровца.

¹ Лыва — низменное сырое место в лугах, заросшее кустами.



На охоту тоже далеко ходить не надо: и река рядом, а озеро еще ближе. Уток на том озерке — как мух на сахаре. Люди, не сходя с крыльца, целятся и бьют уток беспромашно: пока печка топится — на варю набьют.

Богаты сявтинцы и коровами. Три дня прожили мы в Сявте и каждый день и утром и вечером молоко пили. Колхоз не только оленей да коров — и лошадей имел. От Сявты недалеко до Абези — станции на новой Северо-Печорской железной дороге. Зимой, когда олени ходят зимовать в Печорские леса, выручают лошади: на них и людей, и грузы, и почту возят.

Когда мы входили в Сявту, даже страшно было: место далекое, от Хоседа-Харда километров четыреста ушли. И диковатое это место: в лесу да в тундру забрались люди в кои веки, так и живут ото всех других людей на отшибе.

Остановились мы в доме одной старой колхозницы — пенсионерки, звать ее Полагая. Ростом она высока, станом — пряма, обличьем — красива. В молодости, наверно, не одного мужика с ума свела. Сейчас, в шестьдесят лет, ухранила она прежнюю свою красу: лишних морщин не нажила, болезней тоже; брови соболиные над большими, веселыми глазами, волосы густые да длинные, и нет в них седой волосинки. Говорит она рассудно и скромно, а все же смех по губам часто бегаёт. И по-русски она что-нибудь сказывает, а свой природный язык скрыть не может: нет-нет да и словечко по коми провернется.

Одета она, как и все сявтинские женщины, по усть-цилемски: цветной широкий сарафан с опояской по талии, с шелковыми ластовицами и с воротом, обшитым золотистой парчевой лентой; на цветные своевязанные чулки с писанным верхом надеты нерпичьи туфли с песцовой опушкой; на шее старинного серебра цепь четырехколечная — по четыре кольца в ряд, и на той цепи большой крест с серебряными лучами вокруг; на голову она с утра надевала сатиновый вышитый шелком кокошник,

на него — шелковый цветной платок с длинными кистями и концы его на затылке так завязывала, что кисти до колен свешивались; на пальцах серебряный перстень с четырёхугольным самоцветным камнем и кольца литого золота.

Смотрела я на сявтинских женок и дивовалась: у нас в Нижепечорье в старинную пору так одевались только купчихи да богатухи.

Муж Полагеи умер. Он был организатором и до самой смерти бессменным председателем Сявтинского колхоза. Сын воевал на фронте, невестка с начала войны жила у своих родителей. Сейчас с Полагеей жила знакомая бесприютная старушка — ненка Акулина и пятнадцатилетняя внучка, тонкая и стройная, как стебелинка, обличем в бабушку, одетая попроще, но тоже по старинке: широкий, длинноподольный сарафанчик и бурки из оленьих камусов¹, расшитые цветными сукнами.

Дом Полагеи, как и все дома в Сявте, — обычный деревенский дом из двух комнат, каждая с русской кухонной печью, с небольшими окнами, с крашеным полом и невысоким потолком. Из мебели — деревянные столы, кровати, скамейки-лавки и табуретки, стеклянный посудный шкаф, кухонный шкафчик, большой, окованный железом сундук для одежды. В углу на лавке — калечный патефон, а на нем гармонь-двухрядка — забава сына. На полках — медная старинная посуда: чашки, братины, ковши, подсвечники. В переднем углу иконы старинной рукописи в серебряных позолоченных ризах; перед иконами лампы в медных резных подлампадных; портреты Ленина и Сталина в самодельных деревянных рамах.

Встретила нас хозяйка приветливо. Зашумел большой ведерный самовар, в печи закипел мясной суп. Растворила хозяйка целую квашню теста, напекли мы кулебяк с соленой озерной пелядью да свежего хлебца: наш хоседский хлеб и сухари были в начале пути подмочены и зацвели плесенью.

¹ Камусы — шкура, снятая с ног оленя ниже колен; считается самой прочной и водонепроницаемой.

Теперь мы могли не торопиться: услышали, что многооленный колхоз «Кара-Харбей» остановился в ста верстах от Сявты и там отел и прививки будут проводить.

А Леонтьев оленей брать ладил в этом колхозе. Рек больших до того места не было, кроме Роговой. По Роговой сейчас несло лед, а после ледохода нам обещали перевоз наладить. Кроме того, олени наши все равно никуда сейчас итти не могли, — совсем из сил выбились.

Через сутки после того, как мы попали в Сявту, пришел Петря.

— Двух олешков бросить пришлось. Вовсе сустуи¹ стали. За санями вел — не идут, на санях вез — олени не везут. Остальные теперь вместе с Мартыновыми пасутся.

Волей-неволей все мы за чаями да обедами прохлаждались. Аппетит после дороги у нас волчий. Поедим — пить охота, поъем — есть охота. Оленьих щей али уточьего супа по три тарелки съедали, только ложки свистят. Супу наедемся — Полагея накладывает мяса большое оловянное блюдо с верхом.

Выйдем из застолья, хозяйку благодарим:

— Спасибо, хозяйюшка, — за хлеб, за соль, за шти спляшем, а за кашку сказку скажем, за молочко и песенку споем. Червячка заморили, и чайку попить можно, рот ополоснуть.

8

Пришла к нам как-то заведующая здешней школой молодая русская девушка Люба Кононова. Она перед войной приехала сюда прямо со школьной скамьи еще семнадцатилетней девчонкой. Назначили ее в Сявту учительницей.

— С такой учительницей ребятам только играть, — говорили в Сявте.

За пять лет работы Люба немножко подросла, а сейчас в Хоседа-Харде ее даже серьезной работницей называют. Она и класс ведет, и школой заведует.

¹ Сустуй — истощенный олень.

А характер у ней такой же веселый да озорной остался, и язычок такой же острый, с перчиком. С ее непоседством она и сама сидеть не будет, и другим покою не даст.

Вот и тут притащила она своих двух подруг-учительниц свежих людей смотреть. Одна учительница — коми, Терентьева, другая — ненка из деревни Колвы.

Расспросили они про новости, рассказали про свое житье-бытье.

— Скучаем мы здесь, — говорит Люба.

— Тебя, — говорю, — небось, на кладбище, с покойниками, и то скука не возьмет.

— Нет, правда, — говорит, — скучаем. И уж раз вы приехали, мы вас отсюда просто не отпустим, а выступать заставим. Для нас не захотите — для учеников попросим, и не откажетесь.

Торговались мы с ней, торговались и выторговали, что не одни мы с Леонтьевым выступать будем, а чтобы и своих сявтинских сказочников да песенников показали. Они нас послушают, а мы — их.

Вечером в одном из классов сявтинской школы собралась чуть не вся Сявта: и старые, и малые пришли.

Концерт наш на два отделения разделили: в первом выступали мы с Леонтьевым, а во втором — женки сявтинские, мужиков в Сявте не много было: война подобрала. Полнозрелых мужиков здесь раз-два — и обчелся: председатель колхоза да колхозный счетовод — и он без ноги с войны вернулся, да заведующий магазином — тоже инвалид Отечественной войны, нехудой гармонист, — вот, пожалуй, и все. Старики — те на охоту по тундре разбрелись. Вот женки здесь и верховодят.

Сначала вышли на сцену пятеро молодых женщин коми. Все они в праздничных старинных нарядах, не хуже нашей хозяйки Полагеи разодеты.

— Это лучшие здешние песельницы, — объявила Люба.

Надо сказать, что в наших краях, кроме частушек коми мало песен на своем языке поют. И песни они поют те, что у русских переняли. Не совсем чисто по-русски у них песня получается, с недоговорками, а все же и слова все понятны, и голоса приятны.

Вот они и поют:

Нониче черемушка да рано расцвела.

В эту пору матушка да меня родила,

Не собравши разума, замуж отдала,

Отдала, родимая, далечь-далеко.

Провожала матушка до синя-моря,

Спрашивала матушка — когда в гости ждать.

Осержусь на матушку на родимую,

Положу заветик я на три года,

На четверто летико пташкой прилечу,

Сяду я во садике, песню запою,

Грушицу садовую тоской подсушу,

Яблоньку медовую слезой оболью.

В эту пору-времечко маменька моя,

Маменька родимая по сеничкам шла,

Идучи родимая голос слышала.

— Не мое ли дитяtko во садике поет,

Если мое дитяtko, ты поди сюда,

Каково те, дитяtko, в чужой стороне?

— Хорошо, родимая, в чужой стороне:

Свекор-то мой батюшка — как родной отец,

Свекровка-то матушка — как родная мать,
А деверья-соколы — родные братья,
А золовки-девушки — родны сестрицы,
Милая-то ладушка — лютая змея.

Есть у нас на Нижней Печоре похожая песня — «Лучше бы я, девушка, у батюшки жила»; много в ней схожих слов, и на тот же голос она поется. А конец песни, каков он у сявтинских женок, того у нас и старики не слыхивали. И удивленье меня берет: откуда они эту песню вызнали, ведь они — заговори с ними — ни у тебя единого слова не поймут, ни тебе по-русски слова не скажут.

Поговаривают у нас на Печоре, что ижемцы — коми — были научены русским песням своими же богатеями-оленеводами. Пасли у них пастухи оленей, а хозяйева без больших трудов каждый год капиталы загребали. Стада у них десятитысячные и нажива десятитысячная. Иной за свой век не одну сотню тысяч рублей золотом от тундры-матушки оленями возьмет.

И соберется такой оленщик-денежник раз на веку в Москву али в Питер съездить. Поедет, узнает там, какая у денег сила, — и ошалеет. И все-то ему надо: у богатых большие глаза, увидит ижемец, что в городах богачи в сюртуках ходят, жен в цветных платьях водят, в креслах дубовых, крытых бархатом, сидят, с тарелок фарфоровых едят, из золоченых чарок пьют, на музыке иноземной наигрывают, детей своих петь да по-французки баять учат, — и ночей не спит от зависти, и одну думу думает:

«А я чем хуже?»

И разойдется, и везет из столиц к себе на Ижму и сюртуки, и платья цветные, тарелки фарфоровые и чарки золоченые, и музыку иноземную, и детям своим — учителей да наставников, русских и французских.

И говорят, что попался одному такому ижемскому купцу-денежнику дельный, мозговитый учитель, он песни петь учил. Заехал он на Ижму да тут и дни скончал. А когда бродил по ижемским деревням, научил он русским старинным песням не только купцовых, а и всех ижемских ребят.

Душа до красы у каждого человека жадна, в каком бы народе та краса ни красовалась. И вот передавали ижемцы от рода к роду нашу песенную старину, ни слова в ней не понимая, и ухранили ее до наших дней, когда мы сами многое из старины перезабыли и утеряли...

Тут же, от сявтинских женок, в первый раз я услышала песню, какую наши древние старики и то не упомянули. Это песня про какой-то солдатский бунт в те времена, когда жил Долгорукий-князь. Песню женки искалечили, а я их не осуждаю: они ведь не понимают, что поют. А мы и понимали бы, однако и калечной этой песни не могли ухранить.

И песню эту я так и рассказываю, как женки пели: с недоговорками, с недопевками и с нескладицей. Женки пели в пять голосов:

Среди-то было посада да Китай-города,
Среди селенья царские, свет Московские,
Тут стояли ли солдатухи государевы.
Еще бьют-то челом солдатухи самому царю,
Самому царю наш батюшке Юрью Петровичу.
— Вы зачем пришли, солдатухи, слуги верные?
— Жалобу творим, царь-батюшко, на Долгорукова.
Заморил нас Долгорукий-князь да голодом:
Заедает-заглодает наше жалованье,
Наше жалованье, царско выслуженно. —

Слово молвил наш батюшко Юрья Петровича:
— Вы подите, вы судите своим судом,
Со своими со судами со солдатскими. —
Поклон отдали солдатушки, сами прочь пошли.
Долгорукова драгуны догадались,
Запирает Долгорукий-князь все ворота,
Заключает Долгорукий-князь все круг дверьми,
Засыпалось-рассыпалось все мелким песком.
Кременовские полки сами догадливы:
Взяли ли они ушлеги девятьсаженные.
Как стали они, солдатушки, двери покачать,
Покачались-помахались, двери прошибли,
Полезли они, солдатушки, да во светлый двор.
Долгорукова драгуны да испужались..
— Вы зачем пришли, солдатушки, к моей дитоньке?
Я ли вам не дам, солдатушки, золотой казны?
Я ли вам не дам, солдатушки, мое жалованье?
Я ли вам не дам, солдатушки, свой цветной платье?..
— Не надо нам, солдатушкам, золотой казны,
Не надо нам, солдатушкам, твое жалованье,
Не надо нам, солдатушкам твой цветной платье,
Только надо нам, солдатушкам, твоя буйна голова. —
Повесил князь буйной голова пониже плеч,
Взяли ли солдатушки штыки на штыки,
Штыки на штыки, солдатушки, все булатные.

Сколько-то слов из этой песни помнил мой деверь из деревни Голубково, Иван Федорович Голубков, а чтобы кто эту песню хотя бы из половины в треть знал — про это я не слыхала. Коли слышала бы, — в песенной книге моей — в голове — та песня была бы.

Не доводилось мне раньше слышать и еще одну песню: сявтинские колхозницы, кроме знакомых мне песен, спели такую про Стеньку Разина:

Ох, мы станем-ко, братцы, поутру раным-раненько,
Умываемся, братцы, ранней утренней росой,
Утираемся, братцы, тонким белым полотенцем,
А спомолимся, братцы, мы святителю Николы.
А мы выйдем-ко, братцы, на высокую на гору
И посмотрим-ко, братцы, вниз по матушке по Волге:
В Остроханской сторонке не черным да зачернилось,
Не черным да зачернилось, не белым да забелилось,
Не белым да забелилось, не красным да покраснилось,
Зачернелась наша Волга черным мелкими стружками,
Забелились стружочки тонким белым парусами,
Закраснелись на стружочках мачтовые-кругловые...
А на тех же на стружочках Стенька Разин слово молвил.
— Уж вы гой-еси вы, братцы, удалые молодцы,
Вы гребите, выгребайте, своей силы не жалеите.
Как со вечера нам, братцы, к Нижню-Новгороду плыти,
Как со полной ночью Казань-город миновати,
А ко белому свету Острохань-город побити.
Остроханский воевода все по городу гуляет,

Все по городу гуляет, сам пушечки заряжает:
— Вы пушечки заряжайте, воротечки отпирайте,
Воротечки отпирайте, караулы окликайте,
Караулы окликайте, Стеньку Разина стреляйте.
Стеньку Разина стреляют, его пушки не берут...

Эта песня в наше Нижнепечорье и не заглядывала, а сюда, в дальний угол тундры, как-то попала. Призадумалась я и не заметила, как на сцену вышла наша хозяйка Полагея во всем своем снаряде. Вышла Полагея и говорит:

— А я спою вам про нашего печорского Стеньку Разина — про атамана-разбоя Лебяжного. Звали его Иван Гаврилович, а по-нашему, по коми — Гань-Вань.

И запела:

Среди было посада да Кремля-города,
Среди было базара да темна темница,
Как во темной во темнице — три посидельщика:
Как первой-от посидельщичек — конокрадушка,
Как второй-от посидельщичек — есаул-разбой,
Как третьей ли посидельщичек — атаман-разбой,
Его звали-то Ивашечка, ростом не велик.
Он с-по тюрьме тут, Ивашечка, да похаживал.
Свои черные кудерышки да он расчесывал, —
Своим черным ли кудерышкам он говаривал:
— Ох, вы, кудри, вы мои кудерьки, кудри черные,
Как бывать ли вам, кудерышки, на святой Руси?
А видать ли вам, кудерышки, отца с матерью?

Не успел ли тут Ивашечка слово вымолвить,
Как тюремные-то замчики отключаются, —
Тут пришли к ему солдатушки государевы,
Как солдатушки государевы, злы тюремщики,
Его взяли тут, Ивашечку, за праву руку.
Повели-то они Ивашечку казнить-вешати.

Полагею сменил струнный оркестр, а потом, под гармошку заведующего магазином Васи Беляева, плясала русского Люба.

Когда мы после концерта вышли на улицу, то заметили, что солнце уже не закатывается. Наступил полярный день. Это было уже 1 июня. Побродили мы вдоль озера, что подошло к самым домам Сявты. Солнце окрасило воду в розовый цвет. И по той розовой воде плавали совсем ручные утки-ночлежницы: не боятся они ни шагу, ни голоса. Пришли мы на свою квартиру, а у хозяйки самовар на столе. За чаем спрашиваю я Пелагею:

— Откуда ты свою песню взяла?

— Есть, — говорит, — у меня на Печоре в деревне Боярский Бор родственник Иван Михайлович Мезенцов. Так это он любит про Ган-Ивана песни запевать и сказки сказывать. Я молодая часто там гостила и переняла.

Расплатились мы с хозяйкой, оставила я ей на память старинное камчатое полотенце, распрощались и поехали снова свой путь коротать.

9

Тундра-матушка снова под ноги попала. С берега Печоры, от задворок Нарьян-Мара, началась она, и вот я второй месяц еду, еду, и не кончится тундра, пока не упрусь в Уральский Камень. То, что проехали, — то не путь, весь путь — впереди.

Ждет нас путь-дорога незнамая-незнакомая, где — горки, где — воды, где — темные леса. Ждут нас еще и реки быстрые да каменистые, и болота дыбучие да трясучие, и озера широкие да глубокие, и сопки приозерные да приболотные. Может, ждут нас впереди незадачи и недостачи, стужа и нужда, голод и холод? Может, тундра-матушка в лихое беспутье заведет, реки с ног сломят, звери рыскучие растерзают, птицы летучие глаза выключают?

И такая нашла на меня печаль, что хоть обратно поезжай. Думаю:

«Может, это смерть меня куда ли поволокла?»

А ворга все уводит нас вверх по Роговой, все дальше от людей, от теплых хором, от мягкой постели.

Отъехали мы километра два от Сявты, Мартын объявляет:

— Здесь Роговую переезжать будем.

Роговая середь тундровых рек — немалая река. В полуночную пору солнце наискосок светит на Роговую и лучи свои мимо воды мечет. Полая вешняя вода чернела, как болотная земля, и тоску на людей наводила. Олени — животины плавучая. Я помню, когда-то девкой на путине у моря видела, как дикие олени через морскую губу переплыли. То ли звери в воду их согнали, то ли сами они от комаров на ветер шли. Выпустили мы их на берег да тут же, усталых и переловили.

А Роговая — стосаженная река, — для наших оленей — шагом шагнуть. Переплыли они реку, как птица крылом махнула. Разгруженные, пустые нарты плыли за оленями следом. Перевезли мы на лодке багаж, переехали сами. Той порой солнце передвинулось вдоль плеса, и сразу у реки другая краса показалась. Вся светлота солнечная на воде собралась, и не могут наши глаза тот свет вынести. А вдоль берега в воде кусты да деревья книзу вершинами стоят. И те обманные деревья краше настоящих. Лодка на быстрети, как зыбка, качается, воду режет острым носом своим

и позади волновую дорогу оставляет до самого берега, реберит воду на мелкие светлистые ребрышки.

— Смотри, — говорю я, — Петря, дорожку-то какую высветило. У нас примета такая, что долго еще нам ехать.

— Век ездим, — отвечает Петря.

Солнце да утро воду оживили да взвеселили, и у нас на душе посветлей стало: глаза просветлели.

И разговор у нас с Петрей сам собой пошел:

— Не надоест тебе, Петря, всю жизнь-то ямдать?

— Мой дед так жил и мне велел. С оленями на одном месте сидеть не будешь.

— Любишь тундру-то?

— От тундры хлеб-то ем. Вся моя нажива здесь: и олешки, и звери, и птица, и рыба. Кормит нас тундра не голодно, одевает не нарядно, дак зато тепло, обувает — тоже. Здесь родился, здесь и помирать хочу: где гриб вырос, тут и выгниет.

— А знаешь, — говорю, — Петря, ведь я тоже так всю жизнь думала. А потом как большой вешней водой сняло меня с места! Находилась я и наездилась, насмотрелась на вольный свет, а теперь людям есть что сказать.

Петря повернулся и глянул на меня своими продолговатыми глазами.

— И Москву видела?

А у самого не только уши, а и рот слушает.

Рассказала я ему про две своих поездки в Москву, про то, где была да что за дело вела, как меня встречали да принимали, как суряжали да спровожали, как распрощались да расставались.

А Петря, мужик мозговитый и деловитый, видно, что с толком заслушивается.

— А Сталина, — говорит, — видела?

И как узнал, что не видала, даже голову себе цапнул да на меня сердито, с урывкой набросился:

— Тогда пошто в Москву-то ездешь?

А потом смилостивился и потише бранит меня:

— Вот, — говорит, — смотрела бы, дак и мне бы сейчас рассказала. Я тоже знать про него хочу: говорят, чум у него большой да высокий — выше облака. И оттуда ему весь свет видно. И нас с тобой видно. И Мартына с Анной видно.

— Видно, — говорю, — Петря, видно.

А Петря меня и не слушает: своя голова заработала.

— Увидел, — говорит, — Сталин, что в тундре городов нет, — он и нам людей послал города строить. Нарьян-Мар — вон какой! Амдерма — опять город. На Хоседа сначала культбазу поставить велел, а нынче Хоседа-Хард — без мала город. Увидел Сталин, что с Печоры на Москву олешками не доехать, — дорогу строить велел. В Кожве, я видел, теперь железные аргиши каждый день идут. Чего в тундре деется — Сталин все видит: кто худо работает — Сталин сердится, кто хорошо — премии да подарки шлет...

Замолчал Петря только у Мартынова чума, к которому привезли нас олени. Залаяли собаки, закричали на них ненцы, слезли мы с нарт и — в чум. Вместе с Мартыном и Анной тут жили еще две ненецких семьи из колхоза «Звезда». Одна семья — бригадира, другая — рядового пастуха.

Женка бригадира Лукша перед самым нашим приездом родила двойню. Две девочки, как две куколки с природными глазками, — наискось, — лежали в ненецких зыбках¹ и обе были завернуты в теплые да мягкие пыжиковые шкурки. Одна девочка заплакала, мать пригнулась над ней и кормит ее грудью прямо в зыбке. В это время

¹ Зыбка — люлька.

заплакала и другая. А я с ребятами не забыла, как водиться: вынула девочку из зыбки, развернула, сменила шкурки, завернула ситцевой пеленкой. Вот и качаю ее, и кышкаю, и припеваю:

Бай-бай-бай,
Да еще бог дай,
Двух двоенцей
Да трех троенцей,
Семеро погодков
Да семь одногодков.

— Сколько, Романовна, это получается? — спрашивает Петря.

— Без трех тридцать, — отвечаю.

Перевел Петря ей, сколько я им детенышев ворожу, а женка смеется:

— Давай, — говорит, — всех на одну кучу. У меня и так пятеро их. На многодетную такую семью одной пенсии сколько получишь.

И верно, у них, кроме двойников, еще трое парней было: старшему — Гришке — лет десять, а младшему — Мишке — четвертый год.

Три семьи собрались в чуме на отельную пору, да еще мы, гости, понаехали, и теснота была страшная. А жили все согласно, ребятишек не обижали, между собой у взрослых косога взгляда не было. А к роженице ото всех внимание.

В прежнюю пору, как только придет время рожать ненке, все от нее отступались, поганой считали. Соткут ей где-нибудь на сторонке поганый чум, — так и звали: поганый, — да там и бросят ее одну: даже бабок повивальных — и тех у ненцев не было. Все уедут дальше, а за счастливой матерью через неделю али через две оленей пошлют. Привезут к общему чуму, разведут перед входом костерок и заставляют ее через дым

и огонь шагать. Только тогда роженица могла снова в чуме жить, да и то с оглядкой: ни чистой стороны в чуме, ни упряжь оленью, ни тынзей — аркан олений — она переступить не имела права.

А теперь этим глупостям верить перестали. Мать двойни — Лукша — в общем чуме и рожала, и сейчас вместе со всеми живет.

От лишней тесноты вышла я с Лукшиными ребятами из чума на свежий воздух. И разыгрались мои ребятки. Видят они, как отец их с оленями управляется в стаде, и тем же побытом играют. Старший возьмет в руки тынзей, а младшие вместо оленей бегают. Метнет старший тынзей, — глядишь, и поймал «оленья». Вот и ведет его с петлей на шее, к нартам привяжет, а тот стоит смиренно и послушно, как настоящий олень. Или еще выберут все трое какой-нибудь пенышек и по очереди тынзей на него наматывают. Так они с самого детства и набивают руку, приучаются в оленьем деле хозяйствовать.

А то еще возьмут вострый ненецкий ножик и рубят им какую-нибудь палку. И каждый раз мальчик должен в одно и то же место ножиком угодить. И эта игра для ребят не к худу: топором владеть руку приучают, чтобы удар был точным и верным. Недаром любой ненец так тебе дерево топором вытешет, что не надо и рубанком строгать.

Что малым за игру — большим на дело годится. Ребятишки вперегонку с собаками бегают, а потом им эта беготня пригожается и в стаде за оленями, и на лыжах за песцом бегать.

И разговоры у ребят все больше про оленей. То чум шутейный ставят, то ямдаты собираются, то едут куда-то. И, слышу я, называют какие-то места, озера, сопки.

Бригадир к вечеру съездил в стадо и вернулся оттуда злой-презлой. С нарт он сгрузил три тушки: это погибли оленьи телята. Старшой бригадиров паренек Гришка

подтащил тушки к чуму. Потом воткнул в землю хорей, подвесил на вязочки сначала одного теленка, потом другого и третьего. В каждой тушке он ловко сделал надрез, и, как чулки с ноги, стягивал шкурку руками.

— Пыжик мастед саво, — шкурка будет добрая, — говорит Гришка.

Рассказал Петря бригадиру, что надо нам в стадо «Кара-Харбея» попасть. Переговорились, бригадир подумал и сказал:

— Отвезу я вас в пятую бригаду «Кара-Харбея», а там дальше пусть они везут.

В кое время мы отъездной чай пили, в ту пору нам и оленей стотовили.

— Держитесь, — грозит бригадир, у нас олени в ляжках не спят, не олени, а звери.

И верно, только поехали мы от «Звезды», видим, что эти олени иначе ноги переменяют. Понесли они нас — только головы у ездоков трясутся.

В ином месте сани как по воздуху летят: ни пенья, ни коренья, ни сырой земли не хватают. Кусты попадутся — только лицо закрывай да глаза береги; ручей какой ли встретится — наускок его берет, рук от саней отпустить не смеешь, по кочкам сани, как лодку в непогоде, по волнам переметывают.

«Вот тебе и вешние олени, — думаю, — не хуже осенних. На этих оленях живо бы до Воркуты отписали, не успели бы на лишнее место взглянуть».

Сорок километров олени на три духа взяли. Из-за какой-то горки вдруг и чумы показались. Два чума, как две широких елки, стояли на берегу небольшой речки. Подкатили мы к чумам, как сваты богатые. Бока у оленей, как меха у гармошки в руках лихого гармониста, ходят, языки до корня высунули, готовы их ногой заступить.

В который чум мы зашли, в том хозяином был невзрачный, глуховатый ненец по имени Тимофей, по фамилии Хатанзейский. Зато женка его Дарья Ивановна — удалая, не мужу чета. У них трое ребят: Васька — шестнадцати, Ким — десяти и Ондра

— двух годов. И пригодились, — были у меня в запасе, — нарьян-марские конфетки. Как конфетка Ондре в рот попала — будто заспит парень: глаза-то и открыты, а молчит. Прознал он, что гостья приехала сладкая, и ползет ко мне на руки. А мне то любо, что его, как моего погибшего Андрюшу, одинаково зовут.

Пришли люди из второго чума посмотреть на гостей. Один пастух, оказалось, воевал три года с немцем, потерял ногу. По рассказам узнали мы, что воевал он под Смоленском, вместе с Леонтьевым, а после этого еще много где воевал.

Дал нам Тимофей в проводники дородную девку Матрешу из второго чума, привел оленей и отправил. Олени, видим, уже не те.

Подъехали мы сколько-то вдоль берега, нашли лодку и начали на другой берег переправляться.

Перевез нас с Леонтьевым Петря, один конец тынзея к лодке привязал, другой — нам подал и поехал за остальными. А с того берега к лодке другой тынзей привязали. Так и хотели лодку взад и вперед перетягивать. Вот и багаж Петря перевез: с одного берега мы его перетягиваем, с другого Матрена с Ильей. Потом все упряжки оленей с пустыми санями к нам перегнали. С остатками багажа перетянулся и сам Петря с Матреной. Остался на том берегу один Илья. Подтянул он к себе лодку, зашел в нее со спокойной душой и говорит:

— Тяните.

Тянем, а тынзей на том берегу он не забрал. Вот захватило тынзей кустами и держит, не дает нам тянуть. А лодка — на середине реки, и быстерью на нее воду гонит. Оробел Илья, с перепугу заметался, наступил на борт, лодка повернулась кверху дном. Ни живые, ни мертвые глядим мы на Илью, как его быстерью подхватило, а помочь ничем не можем. Пустил ему Леонтьев по воде свой хорей, да Илья и на берегу-то нерасторопный, а тут и вовсе. Хорей прозевал, а на берег

карабкаться как-то надо. Вот, видим, и карабкается, плывёт к нашему берегу. Потом подал ему Петря хорей и выволок на берег. Тот вышел да на Петрю же набросился, чуть не драться готов.

— Сам-то, — орет, — первый переехал.

И вода ручьями с Ильи течет, и с ватных штанов, и с фуфайки. Помогли мы Илье переодеться. Сменил он белье, надел сухое, а поверх белья, кроме совика, ему и надеть нечего. Надел совик да так и поехал на одних нартах с Леонтьевым.

У Леонтьева хорей уплыл, а без хорей и добрые олени не идут: он им нужен, как лошади плетка. Олени к ягелю рвутся, и надо все время за ними бежать и кышкать. Вот и бежат — то Леонтьев, то Илья в кальсонах. Видим, упрел Илья, совик снял, в одном белье бежит, как покойник. Лучше, чем в бане, Илья за тот перегон прогрелся и никакой хвори от ледяного купанья не видал.

Чумы третьей бригады издали видно. Едем, думаем: вот-вот к ним подкатим, — а они все не ближе, как будто прочь от нас идут. Вот уже и совсем рядом, кажется, подъехали, а тут между нами и чумами глубокая, низкая падь оказалась. Окружена она сопками да горбышками, и берега кусками вырезаны. Внизу пади ручей снегом завален, и через тот снег никакого проходу нет: олени тонут, и самим пропасть можно. А перед жильем перед самым пропадать обидно.

Чуть не час мы ездили вокруг чумов, пока нашли переезд через ту круговую падь. Когда приехали в третью бригаду, узнали мы, что здесь стоит Красный чум, живет там Карский тунсовет и помещается правление колхоза «Кара-Харбей».

10

Сдал меня Леонтьев в Красный чум заведующей Нине Бородулиной, Илью с Петрей в другой чум, а сам пошел в третий, где председатель Карского тундрового совета.

— Пoblиже, — говорит, — к начальству пойду, бывает, скорей помогут насчет оленей.

Осмотрелась я в своем чуме и вижу — вовсе он на Красный чум не похож. С одной стороны какая-то семья живет: пожилая nenка, взрослый сын, сын поменьше, две девочки и ребеночек. А с другой стороны чума, на Нининой половине, молодежи много, сидят они, чай пьют и разговоры ведут. И все больше один парень рассказывает, — окликают его Мишей, — про Москву, про города, про войну.

— Ты был там, что ли? — спрашиваю его.

— Как не был? — говорит. — А вы что за люди приехали? — спрашивает.

Рассказала я про экспедицию, про то, что нам три сотни оленей нужно.

— Столько-то, — говорит, — у нас и у самих нет.

И слышу — в разговоре с ненцами он говорит:

— Никаких оленей никому не дадим.

И вскоре ушел из чума. У Нины я узнала, что это и есть председатель колхоза Михаил Хатанзейский, комсомолец, инвалид войны.

— Чего у тебя, — спрашиваю я Нину, — в Красном чуме ничего красного-то не видно, все от дыма почернело?

— А вот, — говорит, — на отельную пору сюда еще одну семью перевели и ко мне поселили. Книжки вон за занавеску пришлось сгрузить. Да и мне сейчас некогда с Красным чумом возиться: я ведь еще и фельдшерица. Редкий день в бригады не езжу.

Пошла я к Леонтьеву в чум тундрового совета. Людей и тут немало, чум большой, а в середине его свободно, хоть танцуй. Жил здесь председатель тундрового совета Николай Иванович с женой и ребеночком, парторг, которого все звали попросту — Петрович, — его райком из Амдермы прислал, молодой ветеринар Петря Абраменко,

— он окончил ветеринарную школу в Сале-Харде и уже восьмой год работал в одном колхозе. И еще здесь жила чумработница Настя; она уже старушка, а жила со всеми как ровня, и все ее Настей кликали.

Когда я пришла, в чуме тунсовета Леонтьев что-то рассказывал хозяевам про нашу дорогу, Настя подавала с печки на тундровый столик большую кастрюлю с каким-то кушаньем, а Илья стоял в одном белье и сушил над печкой свою ватную одежду.

Усаживают меня хозяева за стол и величают по имени-отчеству, будто давно знали.

— Садись, Маремьяна Романовна, хлеба-соли нашей отведай. Первых лебедей добыли.

Я лебедей не люблю, — у старой птицы мясо не лучше жеребятины, — а тут лебеди: попались молодые, уварились они хорошо, и не подумаешь, что это лебеди.

Разговорились. Петря Абраменко начал свои стихи читать, и все про себя да про оленей, про тундру да полярный Урал, за который они на зимовки ездили.

Говорили про меня и про Марфу Крюкову, и про других архангельских сказительниц — Ангелину Суховеркову и Анну Гладкобородову. Пришел Петря. Леонтьев перевел разговор на ненецкие сказки, сказал, что любит их. Встрепенулся тут председатель тунсовета, будто знакомого увидал. И говорит:

— Я тоже их люблю.

Попросили мы его. И рассказал нам Николай Иванович ненецкую сказку «Тенеко».

«Жил-был у самого моря оленевод Тенеко. Имел он сорок тысяч оленей и сорок работников-батраков. А сам он не работал, только водку пил и жену бил. Так он жил долго. Совсем забил жену — померла.

Долго его искали — не могли найти.

Однажды он велел запрячь в свои медные нарты семь сизых быков.

— Я, — говорит, — к морю поеду. Царь давно меня ищет, а сейчас пришло время явиться.

Сел он на нарты и поехал к морю. Ехал он долго ли, коротко ли, поднялся на высокую сопку. Смотрит кругом и видит, что к нему едет на оленях другой какой-то человек. Подъехал человек, и оказалось, что его шурин – брат убитой жены. Поздоровался он и спрашивает:

— Куда, зять, едешь?

— Я, — говорит, — еду к царю. Долго он меня искал, а сейчас я сам хочу явиться. А ты куда едешь?

— Я тоже убил жену и тоже хочу явиться.

— Поедем тогда вместе.

Поехали вместе. Подъехали к морю и видят — идет корабль на всех парусах.

Увидели их с корабля — корабль остановился, бросил якорь, спустили шлюпку, и несколько человек подъехали к берегу. И спрашивают:

— Кто вы такие?

Тенеко говорит:

— Я Тенеко. Я убил свою жену и еду явиться к царю.

Шурин тоже сказал, куда он едет. Корабельщики и говорят:

— А мы вас и ищем.

Взяли их в шлюпку и повезли на корабль. Привезли, подняли якорь, и корабль поплыл обратно. А у Тенеко и его шурина связали руки.

И упал на море густой туман.

Когда развязали им руки, Тенеко и говорит:

— Я, шурин, сейчас прогоню туман.

Вынул из рукавицы один палец правой руки — и тумана сразу не стало. Светло стало.

Еще поплыли, — а у корабельщиков припасы на исходе. Вдруг видят высокую каменную гору, а на горе стоит дом. Подплыл корабль к горе, стал у берега. А в горе выдолблена наверх высокая, крутая лестница. Корабельщики стали подниматься на гору, чтобы раздобыть пищи. Тенеко и говорит им:

— Ладно ли вы поднимаетесь? Может, этот дом плохой.

— Что ты знаешь, самоедин! — закричали на него корабельщики.

Поднялись корабельщики, а вместе с ними и Тенеко с шурином. Подошли к дому. Видят — одна комната каменная и два окна впереди, большие окна, с пола до потолка. Зашли они в дом — никого нету. А там большущий котел стоит. Сели они на лавки кругом котла, человек около сотни их было. Сидят.

Вдруг пришел человек, страшный великан. Ядреный такой. Посмотрел он кругом, взял котел и ушел. Вернулся, принес в котле воду, развел огонь и котел поставил кипеть. И стал он людей смотреть и щупать: у кого шея потолще, кто пожирнее? Взял одного, рубанул топором, перерубил пополам, бросил в котел. Потом другого, третьего — и так набросал в котел шесть человек. Сварил он их и стал есть. Съел и щи, и мясо, и что-то по-своему сказал. Взял большущий меч, положил его вдоль порога, лег на него головой и уснул.

А Тенеко спрашивает у штурмана:

— Понял ли ты, что он сказал?

— Нет, — говорит, — не понял.

— Вот он сказал: «Долго я голодал».

Корабельщики испугались и стали умолять Тенеко:

— Не можешь ли как-нибудь уйти отсюда?

— Я вам говорил, — ответил Тенеко, — а вы не верили. Вот и попали.

Спал-спал великан и проснулся. Взял котел и опять убежал за водой. Принес котел с водой, поставил его на огонь. Снова выбрал шесть человек, сварил их и съел. Снова что-то буркнул по-своему и снова лег спать и уснул.

Тенеко говорит:

— Он сказал: «Немножко чувствую в животе, а все еще не досыта».

Спал он, спал и снова встал. Сбежал за водой, поставил котел на огонь, выбрал еще шесть человек, сварил и съел их. Сказал что-то по-своему и уснул.

Тенеко говорит:

— Он сказал: «Сейчас вроде и досыта наелся».

Крепко спит великан. Корабельщики снова молят Тенеко:

— Как-нибудь спаси нас, а то все равно погибнем.

Тенеко вынул нож, которым делал медные сани, встал на лавку и режет стенку около окна. Прорезал, и окно вывалилось на улицу. И говорит:

— Ну, выходите все через окно.

Вышли все. Остался Тенеко один. Вынул с большим трудом меч из-под головы великана, а поднять не может. Созвал он и бесов, и шаманов, и духа своего отца и матери. Помогли они ему поднять меч до груди. Хотел он отрубить у великана голову, а мечом попал великану в переносицу, вдоль глаз. Разрубил нос и глаза. Великан, вскочил и шарит по комнате, хочет поймать Тенеко. А Тенеко убежал через окно, а великан остался: он не знал, что окна нет.

Но как спуститься? По лестнице очень круто, — не могут. Вынул тогда Тенеко медный аркан и бросил на мачту корабля. Другой конец привязал к горе и говорит корабельщикам:

— Спускайтесь по аркану.

Спустились все корабельщики, шурин, а потом и Тенеко. Отрезал он аркан пополам, и корабль пошел на парусах. Корабельщики обрадовались. Стали играть на гармошках.

— Спаслись, — говорят.

А Тенеко поднялся на корабельную мачту и говорит:

— Не радуйтесь. Беда еще впереди.

Вдруг он закричал:

— Вот ветер гонит на нас девять валов. Есть ли у вас орудия?

Притащили матросы орудия на корму.

— Стреляйте, — говорит Тенеко. — Старайтесь так, чтобы пуля прошла насквозь все девять валов.

Выстрелили, валы все насквозь пробиты, и море стихло.

— Это, — говорит Тенеко, — у великана три брата за нами гнались. Если бы догнали — потопили бы всех нас.

Снова едут парусом. Ветер попутный. Ехали, ехали; вдруг Тенеко видит с мачты: из-под воды показалась большая черная рука. Взяла она корабль за борт — корабль накренился набок. Тенеко слез с мачты, взял свой нож и рубанул руку. Рука осталась.

Вдруг впереди корабля всплыл великан и закричал:

— Ох, Тенеко здесь! Если бы я знал — не пришел бы.

И снова под воду ушел. А Тенеко и говорит:

— Это — четвертый брат великана. Всего их — пять братьев. Я у них бывал и знаю. Ну, теперь спаслись. Впереди никакой беды больше не будет.

Долго ли, коротко ли плыли они по морю, и, наконец, показался на берегу моря город. В этом городе жил царь, который искал Тенеко.

Корабль подошел к пристани. Корабельщики пошли к царю. Пошли и доложили, что привезли, мол, Тенеко и его шурина. Но просили царя не казнить Тенеко, а помиловать.

— Если бы не он, — говорят, — мы бы все погибли.

Царь позвал Тенеко и его шурина и стал спрашивать. Тенеко рассказал, как он убил свою жену, как они плыли по морю и как он спас корабль и корабельщиков. Царь стал его угощать. Угощал водкой. Жил он у царя около месяца, все время пили водку. А потом стал проситься у царя:

— Судить, — говорит, — так суди меня, царь, а то выпусти. У меня в тундре сорок тысяч оленей, и надо мне за работниками смотреть.

Царь снарядил корабль и велел отвезти Тенеко и его шурина в то место, откуда их взяли, — к оленям. Сели они на корабль, а царь говорит:

— Чем тебя наградить, что подарить?

И дал царь Тенеко небольшой ящичек, ничего не сказал. Отправился корабль. Приехали они к оленям, выехали на шлюпке на берет. Шлюпка вернулась, а Тенеко с шурином подошли к оленям и видят, что те живы и здоровы, ожидают хозяев. Сели оба на нарты и поехали. Приехали к тому месту, где Тенеко встретился с шурином. Попрощался Тенеко, и они разъехались. Каждый поехал к своему чуму. Приехал Тенеко в свой чум. Работники рады, что хозяин жив и здоров. Напоил Тенеко всех работников водкой и сам тоже пил. И говорит:

— Не распрягайте моих оленей, я опять поеду.

Прожил несколько дней, все пил водку. А потом собрал всех работников на собрание и говорит:

— Вот уеду я и, может быть, скоро не вернусь. А оленей оставляю вам. Вы растили их да число прибавляли, а я ничего не делал. Ваши это олени, а не мои: я только водку пил. Выберите себе старшего и живите хорошо, согласно. А если у вас будет разлад

и надумаете делиться — никого не обижайте, разделите всем поровну. А если кого обидите — я приеду: добра не будет.

Распрощался Тенеко, взял с собой четверть водки, сел на медные нарты и уехал. Ехал-ехал он и приехал к морю. Остановился там, выпил водки и говорит:

— Что же я вожу с собой ящик? Может, там ничего нет? Дай-ка посмотрю.

Открыл ящик, и на этом месте стал город. Хороший, большой город.

Только, — когда прилив, — все мостки городские заливают. И стал Тенеко плакать.

— Город-то, — говорит, — город, да водой заливают, жить нельзя.

Поплакал он и уснул. И видит во сне: пришел к нему человек и спрашивает:

— Почему ты плачешь, Тенеко?

— А вот, — говорит, — плачу: город из ящика вышел, его водой топят, а собрать обратно в ящик не умею.

— Так собирать его и не надо, — говорит человек. — Ты обратно закрой ящик — и города не будет.

Проснулся Тенеко, закрыл ящик, — и города не стало.

Поехал дальше. И выбрал такое место, куда вода не заходит, красивое, высокое. Опять открыл ящик — и снова вырос город.

Едет Тенеко на своих медных нартах по улицам города. Народу много, все люди разные, и все чему-то рады. Вдруг встретились ему какие-то чиновники, в форме, начальство. Встретились с Тенеко и спрашивают:

— Кто ты? Как тебя зовут?

— Меня, — говорит, — зовут Тенеко.

— А почему так долго не приезжал? Ведь ты — наш царь.

Увели Тенеко во дворец и поставили царем. Стал он царствовать, водку пить, и меня немножечко напоил покойный».

На другое утро нас разбудили выстрелы и крики за чумом. Разобрались уже позже, что в стадо оленей забежал волк. Пастух на ту пору зашел на минутку в чум чайку попить. Волк успел задавить оленя, выгрыз ему холки, а когда поднялись люди — убежал.

Нину Бородулину вызвали в девятую бригаду, там рожала какая-то ненка. В колхозе «Кара-Харбей» девять бригад. По числу оленей — это самый большой колхоз Ненецкого округа: колхозное стадо здесь за десять тысяч перевалило. Поэтому Леонтьев и надеялся здесь получить оленей.

Петря Абраменко с утра ушел куда-то на прививки. Вместе с ним отправились Мотя Хатанзейская и та ненка Матрена, что привезла нас из пятой бригады. Их обеих Абраменко еще в прошлом году выучил на прививальщиц.

Той порой Леонтьев говорил с председателем тунсовета:

— Из Москвы в Воркуту выехала экспедиция, нефть искать. В тундре, сам знаешь, без оленя шагу не ступить. А работать мы будем только в тундре. Вот я и приехал к вам: надеюсь, что вы, Николай Иванович, поможете нам получить оленей в колхозах вашего тунсовета.

— Покупать вы хотите али как?

— Покупать, — говорит Леонтьев и глазом не моргнет.

А я знаю, что у него в кармане пусто. Последние рубли мы за дорогу до «Кара-Харбея» заплатили.

«На что, — думаю, — человек надеется?»

— А сколько голов нужно экспедиции?

— Триста.

Николай Иванович даже привскочил, вздрогнул, как с мороза.

Видит это Леонтьев и говорит:

— Вот что, Николай Иванович! Экспедиция будет работать только до зимы. И олени нам только до зимы нужны. Работа окончится — нам не солить их, берите обратно. Значит, и вам, и нам хорошо будет, если мы не покупать, а арендовать оленей будем.

На аренду Николай Иванович согласился.

Уже потом Леонтьев рассказывал, что больше всего он боялся, — как бы они не согласились на продажу оленей.

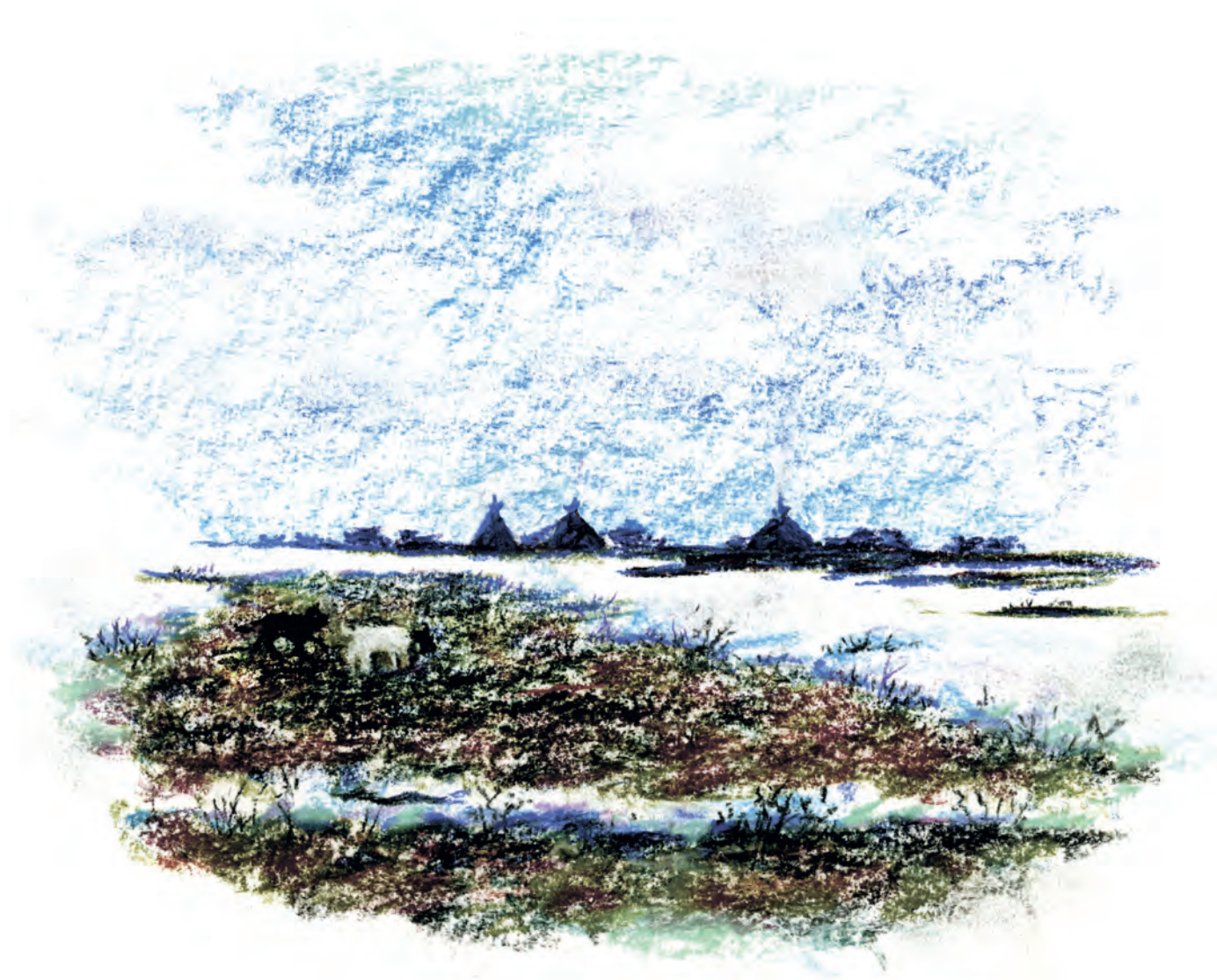
Вечером пришел с работы Абраменко. Втроем с Леонтьевым да Мишей написали они договор.

Пастухов нам отсюда нужно было двух взять. А две семьи разбить на целое лето и осень, двух мужиков полновозрастных лишиться, Миша Хатанзейский никак не хотел. Спорили-спорили и порешили, что поедет в экспедицию тот самый Тимофей Хатанзейский из пятой бригады, через чум которого мы недавно проезжали. Вторым пастухом мог быть его старший сын, шестнадцатилетний Вася. Жена Тимофея, Дарья тоже могла ехать: пастухов ведь тоже и обшить, и обмыть нужно, и обед им сварить. Ким — десяти годов, тоже в оленях мог помощником быть. Один Ондра у них на руках нахлебником поедет. Не смогли мы добиться только одного: чтобы колхоз нам нарты и упряжь для оленей дал.

Пока выбирала оленей да собиралась немалая Тимофеева семья, прошло еще пять дней. Все эти пять дней Абраменко с двумя Матренами-прививальщицами делал оленям прививки от сибирской язвы.

На 8 июня в ночь к третьей бригаде подъехал Тимофеи Хатанзейский с семьей и ста тридцатью оленями. Остальные двадцать голов мы должны были взять в шестой бригаде. Забрал Тимофей меня, Леонтьева, Петрю и Илью, и мы снова стали как на клубок дорогу мотать.

Андрюшка из Красного чума на прощанье играл нам на гармошке походный марш.



Оглянулись мы в последний раз на провожающих. На высокой сопке стоят три чума, народ возле них, олени неподалеку бегают. Над чумом дым, как облако подымается и плывет. И Андрюшина гармошка нет-нет да снова слышится.

С этой сопки нашу путь-дорогу далеко видно: под ногами падь, за ней большой и сухой, без снега, горб, за горбом опять низкое место темнеет, — наверно, речка или ручей там бежит. А за низиной тундра снова в подъем идет, и видна она под ночным солнцем, как на ладони. А в самой дали, где земля с небом встретились, — как острые гребешки стоячих волн, два чума чернеют.

Тимофей ехал первым на легковых нартах и правил дорогу. Дарья на легковых с Ондрей была второй, а сзади у ней, на буксире, шла еще упряжка с грузовыми нартами. На них был сложен чум — шесты и шкуры, на чуме котлы да чайники, а поверх всего — Ким. Вася вел на хамбуй¹ нарты с большим красным ларем — ненецким походным амбаром. На буксире у Ильи шли сани с нашими продуктами. Меня вез Леонтьев. А Петря заключал весь аргиш² и следил, чтобы не отставали порожние олени. Вдоль всех девяти упряжек олени бежали кучками и хватали на ходу снег и ягель. На спуске в падь, в крутых местах, чтобы хамбуйные нарты не набегали на оленей, мужики придерживали нарты за концы вязок. Легковых оленей в таких местах сводили, держась за вожжу возле рогов передового, а всю упряжку сдерживали, перегораживая им дорогу хореем. Олени боятся хорее и не бежат, а спускаются постепенно.

Из пади к речке Тимофей нашел проход по какой-то ляговине, и мы проехали туда, не поднимаясь на горб. Выехали мы на берег, сбили оленей в кучу, и началась переправа. Тимофей отыскал в прибрежных кустах маленькую лодочку — челнок. Одного человека

¹ Хамбуй — прицепная упряжка оленей, идущая как бы на буксире у первой легкой.

² Аргиш — олений обоз.

она хорошо держала, а двое только на смелость ехать могли. Стал в нее Петря и видит, что в каждую щель вода бежит, ручьями течет. Заткнул тряпьем Петря главные дыры и говорит:

— Все-таки лодка, а не рыбий пузырь.

И повез первого Леонтьева. Хоть и подмочили, а все же перетаскали они на другой берег весь багаж и продукты. Нарты переправили плавом. Когда переехали все мы, кроме Васи, начали перегонять оленей. Стоит Вася на своем берегу и кричит негромко и протяжно:

— Э-гей... Э-гей...

На такой голос олени к человеку ближе подходят. Подошел к берегу с десятком-другой оленей, а все остальные по-прежнему стоят на своем месте.

А Вася знает свое дело, стоит спокойно и кричит:

— О-хо... О-хо... О-хо...

И верно, олени один за другим потянулись на Васин голос и сбились в кучу у самого берега, некоторые даже в воду забрели. Задние олени хотят подойти поближе на голос, жмут средних, средние — передних, тех, что край воды стоят, и вот передних уже столкнули в воду и они волей-неволей плывут на другой берег. А олени глупые: стоит одному в сторону шарахнуть — и другие за ним, один поплывет — и другие не отстанут. Вот и наше стадо, как один, плывет. Олени переплыли, все с запряжками да с погрузкой возятся... А мы с Леонтьевым надумали пешком итти. Спросили мы Тимофея про дорогу, а он махнул рукой в сторону тех чумов, что виднелись еще от нашей стоянки, и говорит:

— Там...

Вот мы и пошли. Сперва шли сухой ногой, от реки поднялись в крутую горку. Видим мы, что оленям здесь не выбраться, что будут они подниматься дальней кругоезжей дорогой, и идем, не торопимся.

Но только поднялись на кряж, подхватило нас длинное, широкое болото. Надо сказать, что болота наши, если собрать их вместе, пожалуй, половину тундры займут.

Бывают болота с черной грязью и с тоненькой корочкой наверху. На этих болотах никогда и ничего не растет. Плавают по ним какие-то ржавые пятна, как лужи, и из одной в другую те лужи ручьями переливаются. Ни семя в той земле не прорастает, ни корень отростка не дает, ни стебелка не приживается, ни цвет не процветает. Плесень — и та на черной, зыбучей грязи не завяжется. Кто не понимает али кому счастья нет — попадет на болото, погрязнет и уйдет в бездонную, черную пучину. По краю таких болот рисковому человеку ходить еще можно. Бежишь по нему, нога поосажает, будто затягивает ее в землю, заглывает. Если ноги переменять почаще да воздуху полную грудь набрать, — глядишь, и побежала. А все же и тут ходить только тому человеку можно, который в свое счастье верит.

Бывают болота травянистые. Поросли они болотной и широкоперой травой да осокой, впрямь с хвощом. Земля на них вся водой пропиталась и взялась клочьями. Между клочьями в жаркое время вода высыхает и на землю натягивает зеленую плесень. И на каждом клочке — редкая трава. Болотная трава на волосы похожа: каждая травинка тощая да тонкая, как волосинка. Растет такая трава и на наших редких болотистых пожнях¹. К косьбе она неподачливая, попадет под косу — сомнется, пригнется к земле и пройдет под косою цела и невредима. И только когда смочит ее роса али дождь, тогда только можно взять ее острой косою.

Осока растет узкими да острыми перьями, как перья в хвосте у утки-чирака, — пучечками по три пера, а пучки эти гнездами растут. На каждом клочке пять-шесть таких гнезд, и в любом травяные перья в разные стороны торчат. На ином болоте осока человеку по пояс доходит. Есть еще осока из другого рода: она вдвое помельче, пониже и помягче первой, перья у ней уже, и растет она не пучками, а по одной травинке, и каждая склонила вершину вниз. Любая осока от других трав тем

¹ Пожня — сенокосные угодья.

отличается, что края у ней остры, как хорошо наточенное ножевое острие, и тело она режет безжалостно: босиком по ней пройдешь — все ноги изрезаны, и рукойхватишь — без ран не останешься, все ладони исполосованы. Недаром у нас про человека-ругателя, резкого и к чужому сердцу безжалостного, люди говорят:

— Ох, уж это резучая осока!..

Другое дело хвощ. И красив, он: стройный, как вербочка. Налит он яркой зеленью, круглый, как трубочка, а внутри полый и весь — из звеньшек. Звеньшко ко звеньшку как суставами связано, каждый сустав поверху пояском перехвачен, а на вершине стебля желтенькая головка. От хвоща коровы и молока прибавляют, и силу он всякой животине дает.

На травянистых болотах тоже есть трясучие места, нога на них нет-нет да прорвется. А все же далеко нога не уйдет: земля травяным кореньем проросла и ногу сдерживает.

Бывает, что на травяных болотах впрямь с травами мох растет, бывает, что в сырых моховых болотах сызредка травинки тоже проскакивают. А все же настоящее моховое болото с ним не спутаешь. Глянешь на него — как ковер самотканый разных цветов перед глазами раскинулся. Идешь и чуешь ногой, что не ковер это — таких мягких да пушистых, да ласковых ковров не бывает, — будто ты в чистый лебяжий пух ступаешь. Этим мохом мы избы свои конопатим. Моховые болота не столь широки, как долги, без кочек и кустов. Они будто озера между морошечных болот протянулись и всегда ниже их лежат.

Шагнешь наверх — и начинаются морошечные уголья. На черном мху рассыпан старый листовник от морошечных сторожков¹, от брусничных кустиков, от черных ягодников вороницы. Поверх старого листовника пучками выходят и развертываются, как чашечки, морошечные листья. Они почти круглые, с разрезом до самого листового черенка, и обе половинки листа заходят одна на другую, как у зеленой кофты пола на полу закинута. Из середины листового пучка выскакивает прямой, как хорей,

¹ Сторожок — стебелек, на котором растет ягода.

сторомочек, а наверху головка — будущая ягода морошка. И рассыпаны по всему болоту морошечные сторожки, — счету им нет, стоят, как солдаты, в зеленых шапках.

Первые соседи морошки — кусты багулы, багульника, голубичника и мелкоярника. По этим кустам издали видишь, где должна быть хорошая морошка. В кустах ее и весной мороз не бьет, и ветер летом не берет, и осенью она как в погребе хранится — не портится. Из-за морошки на этих болотах чаще, чем на других, ступает человекья нога. Сколько бы по тундре ни ходил, а никуда так нога не тянет. Моховое болото перейдешь, лишь когда тебя нужда догонит к морошечному перейти. В травяное забредешь, если больше негде пересунуться. А в дыбучее — коли жизнь не наскучила, и к готовой бочке морошки не пойдешь.

Я так много про болото говорю потому, что люди болота ни во что не ставят. Скажут слово «болото», а и не подумают, что болота бывают разные. Званье всем им одно, а у каждого свое обличье, свой побыт, своя краса. И тот, кто поморщится при слове «болото», пусть вспомнит, что болота кормят людей, что всякая птица вокруг болот вьется: лебеди, к примеру, на самых жидких на болотах гнезда вьют, — что болот на белом свете раскидано куда больше, чем плодородных земель да садов.

Вот мы с Леонтьевым и шагаем по болотникам, от одной к другой. Снег все еще не сошел с земли, но видно, что местность сырая. Да и снег больше на воду походил, чем на снег. Тобоки¹ просмолены были худо и сразу же промокли. Малица моя надоедала, переплетала ноги, гнела плечи и мешала итти. Пришлось снять ее, нести в руках. Да еще дождь ударил, малица намокла, тяжелой ношей стала.

Идем мы где сухим путем, где сырым, где по проталинам озерных кряжей. И час идем, и другой идем, а чумов нет. А путь все в подъем идет.

¹ Тобоки — верхняя меховая обувь шерстью наружу, головки их да носки обычно мочат в смольной воде.



Только когда вышли мы на хребет — видим: никакие это не чумы были, две широких елки присели к самой земле, и даже вблизи худо можно различить — елки это или чумы. Зато километра за четыре от елок видно — настоящие чумы стоят. Что ж, сами они к нам не подвинутся, надо итти.

Вот и купаемся опять в грязи, да в воде, да в снежной каше. Аргиша нашего и в помине нет: может, другим каким-нибудь путем поехал. Идем. В эту пору весны болота показались мне не больно баскими¹. Куда больше глянулись гористые места да озерные края. А озерки попадались частенько. Снова в небе солнце плыло, и на солнце они блестели, как полные чайные блюдца. Вот и криуляли мы по межозерицам.

В озерах, видим, утки плотами плавают. Проходим мимо их, а они и не оглянутся, крылом не встрепенут.

«Надо, — думаю, — яичек поискать».

Идем, Леонтьев — по одному берегу, я — по другому, и хвастаем, перекликаемся:

— Я два нашел.

— А я четыре.

Гнезда утки выют не обязательно у самого озера, а где-нибудь в сторонке: где в кусту, где на холмике, а где и на гладком месте. Сгоним уток с гнезд, они и кружат. Перед самыми чумами набрела я на гнездо утки-вострохвоста. Яйца у них не как у других уток, — продолговатые и чуть побольше. Матки не было, значит улетела кормиться. В гнезде лежало девять яиц. Они еще не остыли, матка улетела недавно.

В чумах мы застали всех еще спящими. Унимать собак вышла какая-то девочка. Она привела нас в свой чум, мы обогрелись, обсушились у печки и уснули, как убитые, не дожидаясь даже чая.

¹ Больно баские — очень хорошие.

Утром за нами приехали Петря и Вася. Наш аргиш, как мы и думали, прошел стороной и остановился километрах в десяти от чумов шестой бригады.

Бригадир, молодой ненец Николай, прочитал записку председателя колхоза и сказал:

— Пока отец не приедет — ничего не дам.

— Ведь не отец, а ты бригадир, — горячился Леонтьев.

Сколько мы ни бились, оленей нам дали только после приезда из стада Николаева отца.

В чум Тимофея и Дарьи мы попали только на ночлег.

Тимофей и Дарья обосновались на новом месте немалым хозяйством. Куда ненец переедет — везде ему дом родной. У Тимофея по обе стороны чума разоставлены нарты. Возле входа дрова припасены: насекомых кустов столько, что в деревне на неделю хватило бы. Ким рубит кусты намелко, а Ондра таскает в чум по одной палочке. В чуме у Дарьи котел с мясом кипит, чайники к огню поставлены, в ведрах вода припасена, постели на латы разостланы, рукомойник перед входом на веревочке качается, а на передней стороне тундровый столик, погребец с посудой и на нем — икона Николая Чудотворца.

Тимофей по сказкам людским — давнишний член партии, а с Дарьей своей совладать не мог. Да он и не притеснял ее особенно-то. Так они и жили: и стол у них один, и хлеб один, и постель одна, только вера разная. С приезда говорю я Тимофею да Дарье:

— Явились мощи из зеленой роши. Мы все ездим да гуляем, а у добра хозяина к утру ко свету все доспето: и дом поставлен, и снег растаян, у доброй хозяйюшки огонь горит и обед кипит.

— Проходи да садись, — приглашает Дарья.

— В которую горницу-то проходить?

— Вон в ту, — показывает она на другую половину чума.

— Вы, — говорю, — пополам-то дом ставили? И нам — горницу?

— Нас пятеро здесь живет, а вам, четверым, добро жить, можно. Стульев у нас нет.

Поджала я одну ногу под себя, у другой коленко подогнула, облокотилась на него и сижу, как природная ненка. Леонтьев с Петрей свернули ноги под себя калачиком, как ненцы садятся.

После ужина Петря в стадо пошел, а Вася — в другую сторону. У обоих в руках было по некорыстному ружьишку, по уточьему капкану и по чучелу куропатки, — у нас его называют «маньщик». Куропатку ловят так: ставят капкан, насторожат его, положат рядом маньщика и отходят. Веснами куропти дерутся, куроптих ловят. Летит над капканом куропоть, летит и кабаркает. Увидит маньщика, думает, что это живой куропоть и что он сейчас же к его куроптихе побежит. Вот он подсядет неподалеку, крылья растопырит и бежит к маньщику. С разбегу накинется, и бьет, и клюет, и ногами бьет. А потом видит — сам в беду попал. А из той беды — прямая дорога в котел. Утром наши охотники принесли девять куроптей.

— По одному на человека, — считает Вася.

— Быват, — говорю, — Ондра ту куропатку не съест.

— Илья поможет, — говорит Дарья и сама лукаво посмеивается.

На завтрак съели мы сырого мяса по ломтику, примерно по полфунта, рыбы по звеньишку, — только у Ильи это звеньишко едва в целую пелядь влезло, — чайку выпили чуть не по ведерышку и, благословясь, отправились.

И поблизку земля от земли лежит, а выглядят они не схоже. Доедешь до сменного места, в одну сторону оглянешься — озера да болота на целый переезд, вперед посмотришь — горбы да хребты друг на друга наворочены, будто тут Мамай воевал.

А то еще едешь вдоль берега реки и дивом дивишься: на одном берегу — ровнядь гладкая, без единого деревца, а на другом леса косматые колыхаются, будто стадо рогатых оленей бежит.

Так и у нас теперь. Только отъехали от чумовища, вместо болотинок да приозерков началось гористое место.

Надоело нам окати горбов тундровых одолевать. В таких местах, коли волю оленям дать, побежат они сломя голову, все растеряют, нарты выломают.

Вот двое мужиков остаются на горбу и сызволи отпускают сани на тынзее, а тот, кто на санях едет, оленей за вожжу ведут и хореем оленям острастку дают, чтобы воли не брали. Одни нарты спустят, передового за вожжу к тем же нартам придернут ненецким узлом и опять на горб за другими нартами идут.

Только спуск одолеем — в подъем опять общей силой толкаем нарты за нартами. В ляговинах снег только к июлю пропадет, а сейчас тут снег саженью мерять надо. И месим мы эту слякоть, как глину.

Зато в работе разогреешься — вся кровь разгорится, и не знаем мы никакого ни мокра и ни холода. Выберешься на горбышек — снова на нарты присесть можно, олени потихоньку волокут, а ты потихоньку песенку собираешь в памяти:

Из-за кустышка олень, люли-люли,
Из ракитова белой, люли-люли,
Не озяб ли ты, олень, люли-люли,
Не озяб ли молодой, люли-люли?
Приоденьте-ко оленя, люли-люли,
Приоденьте молодого, люли-люли,
С молодца — епанча, люли-люли,
С молодицы — рукавица, люли-люли,

С красной девушки — платок, люли-люли,
Со оленя — перстенек.

Песню поешь, вокруг глаза раскидываешь, — с горбышка далече видно. И вижу, что сейчас опять спуск подоспеет, и опять для песен рот тесен. Так с горы на гору и прокачались весь день, как по морским волнам. Пока доехали до новой стоянки, оленей несколько раз переменили. Какой опристанет, Тимофеи али Петря отстегнут от упряжки, а в это место свежего поставят.

В тот вечер накормила нас Дарья, напоила, а на закуску и сказкой угостила.

12

И говорит нам Дарья:

— У меня, Романовна, дедушко тоже большой сказитель был. От него я и эту сказку про нашего ненецкого богатыря Семирукавого переняла. Конечно, не сказка это, а песня: по-ненецки-то у нас ее поют, а не сказывают. Ну, а я сколько могу — по-русски, а сколько — по-своему песню эту сказкой расскажу. Песня моя тоже из старины: там и люди летают.

— Так не из старины, значит, — говорю я Дарье.— Люди летать-то нонче стали.

Дарья губы подолом вытерла и начала:

«На яренной¹ речке растила старуха мальчика, внучка своего.

Бабке мальчик и говорит:

— В тундре много куроптей. Делай мне лук — стрелять.

Сделала бабка лук. Бегает мальчик, стреляет куроптей, а головки на сопку складывает. И говорит бабке:

¹ Яренная — заросшая ярой, тундровым кустарником.

— Не ходи на сопку: голова болеть будет.

А бабка говорит:

— А ты не ходи вверх по речке: голова болеть будет.

Вот как-то он стреляет и за стрелой бежит. Убежал далеко вверх, по яреной речке.

И видит там озеро с семью большими носами. Потом еще видит: на одном носу два оленя-хора¹ лежат, только головы видно, а глаза у них закрыты. Заревел на них мальчик, испугать их хотел. Олени вскочили и побежали. Мальчик стрелой, обоих убил. Упали хоры на рога, перевернулись и ноги расширили.

Пришел он, рассказал бабушке. А та ругается:

— Не ври. Диких оленей не убьешь стрелой.

А мальчик зовет посмотреть. Пошла. Когда пришла, видит: лежат два диких хора.

Хлопает мальчик оленей по брюху и говорит бабке:

— Здесь, видно, много сала.

— Что ты, парень, — говорит бабка. — Здесь не сало, а назем у него.

Отрезали они холку и пошли домой. Дома бабка сварила мясо (парень сырого не ел, невкусно — говорил, век рыбу ел), дала мальчишку чашку.

А тот взял мясо, а чашку бабке отдает.

— Рыбой, — говорит, — пахнет чашка. Вымой. А мясо вроде вкусно.

Поели. Бабка спать повалилась. А парень с луком и стрелами пробежал вниз по речке. Там, видит, речка в море вышла.

И вот видит стойбище, чумы стоят, а от людей одни кости остались: от какой-то болезни померли. Ходит-ходит кругом меж мертвыми и видит двое боролись и один другому череп отсек саблей. Поднял парень череп и говорит:

— У бабки чашка грязная. А я из этой есть буду.

Ходит и видит: двое железными когтями бились да так померли. И сабли рядом лежат. Взял парень железные пальцы, надел сабли на руки и говорит:

— Теперь, — говорит, — у меня оружие будет.

Идет парень обратно в чум. А бабка там плачет.

— Растила, растила — и того, видно, из рук опустила. Попадет он к худым людям Харюцеям — убьют. Молодой ведь он еще. Три сына у меня было. Пришли Тасинеи — худые люди. Сыновья просили-молили: «Возьмите полживота нашего, только не убивайте!» Потом: «Возьмите весь живот, только не убивайте!» Тасинеи страшные, головы в железо завернуты, — стрелы не боятся.

Пришел в это время мальчик и отдает череп.

— Вот, бабка, чаша моя, больше не буду есть из грязной.

А бабка и говорит:

— Ой, глупый! Это — череп твоего отца. У него голова приметная была.

Мальчик говорит:

— А я убью тех, кто убил моего отца.

— Ой, не ходи, — говорит бабка, — у них сила большая.

Не послушал мальчик, пошел. Пришел туда, где речка в море вышла, где чумы стоят, а от людей одни кости остались. Перескочил мальчик речку, пошел по другой стороне. И за речкой стоят чумы, а люди все убиты. Видит — стоят одни сани вроде избушек, заглянул он туда, нашел суконное пальто с семью рукавами. Нашел и надел. И думает он:

«Нет у меня имени, так пусть зовут меня Сепирукавый...»

Пошел дальше — видит: чумы Тасинеев стоят. Семьсот чумов. У главного Тасиней голова в железо одета.

Поправее тех чумов пошел — стоят чумы Костяных Луков, тоже семьсот чумов. Поправее того — чумы Деревянных Луков стоят, тоже семьсот чумов. Полевее хозяина

¹ Хор — олень-самец.

Тасиней стоят Сиу Неулкуку, семьсот чумов. Полевее Деревянных Луков стоят Сиу Бялсяко, семьсот чумов. Поправее Костяных Луков — Железные Луки, семьсот чумов. Полевее Сиу Неулкуку — еще семьсот чумов.

А всего тут стоит семь раз по семьсот чумов.

И думает Семирукавный:

«Видно, здесь мое смертное место. Сколько чумов, а я — один. Убьют меня».

Как увидел пальто с семью рукавами хозяин Тасиней, и говорит Семирукавому:

— Не убивай нас, Семирукавный: я двух дочерей тебе отдам.

Не хочет слушать Семирукавный, идет мимо хозяина Тасиней к чумам, хочет всех убивать. А хозяин Тасиней кричит:

— Пстой тогда, я пойду оденусь.

Семь дней одевался Тасиней, наматывал вокруг себя железо. Когда и голову в железо завил, на улицу вышел, — одни дырочки для глаз видно, едва идет.

— Ты чего, — смеется Семирукавный, — одевался семь дней? Ведь на мне ничего нет, одно суконное пальто с семью рукавами.

Тасиней подошел к Семирукавому, поставил свой лук кверху концами и говорит:

— Ты вставай на один конец лука, а я на другой.

А Семирукавный говорит:

— Так долго смерти не найдем.

Бросил поперек лука стрелу и сказал:

— На один конец стрелы ты вставай, а на другой я: так скорей кто-нибудь убьет. Ты моего отца убил, так и меня пробуй первый.

Тасиней полдня прицеливался в Семирукавого и тогда стрелил двумя стрелами сразу. А тот скочил вверх — стрелой даже края платья не задело. И говорит Семирукавный:

— Теперь моя очередь. Я не по-твоему буду стрелять.

Зарядил две стрелы, нацелился быстро и выстрелил.

Стрелы сорвали всю железную одежду у Тасиней, остался он голый.

— Ну, как, — говорит Семирукавный, — еще тебя стрелять али жить хочешь?

Стал молить Тасиней:

— Пожалуйста, не убивай, — умирать не хочу. Полживота тебе отдам и дочерей.

Зашел Тасиней в чум, оделся. Дочерям десять горновых саней-вандеев нагрузил: недержанные малицы и паницы¹, ядомное² добро, постели, камусы³ — все положил. И зятю тоже сани направил, оленей запряг и говорит:

— Поезжай, да давай не ходи больше в нашу землю: я жить хочу.

Семирукавный говорит женке:

— Поди туда, откуда я пришел.

Отвечает девка:

— Может, у Семирукавого сердце худое и он не залюбит вопрос, но только я не знаю, откуда он пришел.

Сказал Семирукавный. Девка и думает:

«Наши сказывали тоже. Видно, правда».

И поехала.

А Семирукавный забрал всех оленей, луки — и даже стрелы единой не оставил — и поехал. А Тасиней бежит следом:

— Что ты, зять, оставил нас без оленей, без луков и стрел? Что мы будем есть, как охотиться? Пропадем мы с голоду.

Выбрал Семирукавный лук, что похуже, отдал тестю:

¹ Паница — женская одежда шерстью кверху, с разрезом посредине.

² Ядом, едом — становище для рыбной ловли.

³ Камусы — шкуры с оленьих ног, идут на пошивку обуви.

— Бери, — говорит, — и тем питайся.

Подогнал Семирукавый оленей к аргишу жены и передом поехал. Видит — впереди, пониже неба, летит человек. Подлетает ближе и говорит:

— Я тебя, Семирукавый, хорошим человеком не считаю. Которого человека убить надо было, так ты его живым оставил, на девку обольстился.

Ткнул его Семирукавый железным хореем и обраниял. Человек вверх подался и улетел. А Семирукавый ругается:

— Когда меня бабка маленького растила, тогда вас, советчиков, не было. Вот когда рыбкой мы с бабкой питались, а когда рыбки не было — гнусом, — вот тогда бы помогли.

А сам не знает, что это брат его был.

Еще идет человек навстречу, повыше земли идет. По виду — щеголь. И тоже говорит:

— Я тебя, Семирукавый, хорошим человеком не считаю: которого человека убить надо, так ты его живым оставил, на девку обольстился. А своего брата обраниял.

А Семирукавый:

— Теперь я в возраст взошел, никаких мне советчиков не надо.

Убил его Семирукавый железным хореем.

— Подмогу, — говорит, — мне не делал, а теперь суешься.

А сам не знает, что это брат его.

Доехали до бабки, поставили чум да тут и живут.

Как-то в пору темных ночей вышла его жена на улицу и видит: дважды семь человек на животах подползают к чуму: Деревянные, Костяные, Железные Луки, а Тасиней впереди. Забежала она в чум.

— Разбудить бы, — говорит, — надо Семирукавого, да он сердцем крутой, убьет еще.

Вынула она из косы железную шпильку и мужу за пазуху сунула. Тот почувал холодное железо и спрашивает:

— Чего будишь?

— Дважды семь Тасинеев идут.

А Семирукавый одеяло повыше натянул и говорит:

— Пускай идут.

Той порой Деревянные, Костяные и Железные Луки окружили чум, а Тасиней кричит у входа:

— Эй, Семирукавый, вставай! Без ничего ты меня оставил, теперь убьем тебя.

Услышал это Семирукавый и через макодан¹ вместе с одеялом на улицу выскочил. Пал он на свои сани, хотел лук дернуть, а они подбежали и лук переломили. Отскочил Семирукавый в сторону — те догнать не могут и не стреляют, хотят руками схватить. Долго его гоняли. Ночь прошла, свет стал, день стал. Печалится Семирукавый:

— Никто-то мне ее поможет. Одного брата обраниял, другого до смерти убил, — помогать некому.

Взглянул вверх, а там человек с железными крылышками летит. Прилетел, на облако сел и говорит:

— Семирукавый! Коли ты не будешь людей в моих чумах убивать, я бы взял тебя к себе.

— Если от смерти спасешь — никогда не буду убивать людей в твоих чумах.

И человек с железными крылышками спустился с облака вниз, взял Семирукавого между крыльев и унес к себе. А дважды семь человек говорят:

— Экой человек дикой: которого убить надо, он унес того. Теперь всех нас убьет Семирукавый.

¹ Макодан — отверстие вверху чума для выхода дыма.

Дважды семь человек и девку, и оленей угнали обратно. Ни одного теленка, ни одних саней, ни одного лука не оставили. Человек с железными крылышками унес к себе в чум Семирукавого и говорит:

— Ну, если устал, так спи.

Неделю али полгода живет там Семирукавый. Жена человека с железными крылышками — тетка Семирукавому, его отцу — сестра. И говорит им Семирукавый:

— Теперь я полгода спал, пойду и — не только человека — собаку живьем не оставлю. Отца моего убили, оленей отцовских угнали. Не знаю я — кто виноват, так всех убью. Только вот лука у меня нет. Дай мне, Железное Крыло, лук.

Тот и говорит бабе:

— Все время ты твердишь, что у тебя в приданом железный лук есть, так дай ему. Он тебе родня, так стоит этого лука.

А та отвечает:

— Отец мне давал лук, так не говорил, что воевать им можно. Промышлять только велел.

А Железное Крыло свое твердит:

— Долго ли ты будешь держать лук попусту. Принеси и отдай. Ведь он братний сын тебе.

Вышла баба на улицу, нашла лук. Поднять его не может, так по земле в чум приволокла и говорит:

— Возьми, Семирукавый. Возьми и держи. Подойдет он тебе.

А Железное Крыло говорит ей:

— Ты хвастала, что у тебя железная одежда есть. Сына у вас нет, — кому ее носить?

Приволокла ее в кожаном мешке женка. Надел Семирукавый железную одежду, взял железный лук и пошел.

— Давай, говорит, — ты, Железное Крыло, от меня войны не бойся.

И ушел. Долго ли, коротко ли шел, видит: человек на нартах сидит. Два теленка в нарты запряжены, и запутались они. Дошел до нарт Семирукавый, да тут на землю и сел. Смеется и говорит:

— Хо-хо! Притомился я, кажется, пристал.

— Как не пристать, — говорит человек. — Ведь у тебя лук-то волочится (он был привязан сбоку) — так от него позади быстрая река остается. Что ты в эту сторону идешь, Семирукавый? Много их там, и одному тебе не убить всех. Зря идешь.

Рассердился Семирукавый.

— Хоть и один иду, да помощника не ищу. Я виноватого не знаю, кто отца убил. Кого увижу, того и убью.

Оторвал ему голову, нарты на него опрокинул да тут и оставил.

Опять пошел. Долго ли шел, коротко ли, видит нарты, запряжены они двумя лончаками¹. А на нартах еще один человек сидит. Сел на землю возле нарт Семирукавый и говорит:

— Хо-хо! Пристал я, кажется.

— Как не пристать, — говорит человек. — Ведь у тебя лук-то волочится, так от него позади река быстрая остается. А в эту сторону не ходи, Семирукавый. Много их там, и тебя убьют. Зря идешь.

Опять рассердился Семирукавый:

— Хоть один иду, да помощников не ищу. Я виноватого не знаю, кто убил отца. Кого увижу, того и убью.

Оторвал второму голову, нарты на него опрокинул и опять пошел.

Долго ли шел, коротко ли шел, увидел — стоят семью семьсот чумов.

¹ Лончаки — молодые олени-самцы до двухлетнего возраста.

А люди там радуются:

— Семирукавый пришел. Нас много, а он один. Сейчас убьем его.

Стрелы пустили — как пурга несутся. Семирукавый только лук свой оберегает. Когда стрел пореже стало, оглянулся. Видит: тот человек, которого хореем когда-то ткнул, идет к нему на помощь. Подошел, помогать стал. Вдвоем стреляют.

Постреляли — опять обернулся. Видит: идет еще человек на помощь, лук березовый железом завит.

Втроем стреляют.

А на Тасинеевой стороне людей все больше: и на легковых нартах идут, и няпоем¹ идут, и пешеходные идут. Много их, и уменьшить их трудно.

Была у Семирукавого стрела о семью якорями. Стрелил он и попал в Большого Костяного Лука. Стрела дальше пошла, и Костяного Лука за собой волочит. До моря дошла, и море прошла до острова, где стоял один чум, и в двери чума уперлась. Костяной Лук заглянул в чум и говорит:

— Хозяин! Вынь из меня, пожалуйста, стрелу.

А хозяин был ненец по имени Бык, по-ненецки — Нярко-Хапте. Вот Нярко-Хапте и говорит старухе, — она была тетка Семирукавого:

— Давай, старуха, головню.

И головней колотить Костяного Лука начал. Колотит и приговаривает:

— Я говорил вам: «Не ходите воевать на отца Семирукавого». А вы пошли и его оленей на семь частей разделили. Так вам и надо.

И убил.

А двум сыновьям своим говорит:

— Это вас Семирукавый дразнит: воевать итти зовет. Не ходите — спите.

Воюет Семирукавый. Человек с березовым луком, завитым железом, стрелил стрелой. Угодила стрела в Большого Железного Лука, утащила его через море на остров к чуму Нярко-Хапте. Железный лук и говорит:

— Давай, хозяин, освободи меня от якоря.

Нярко-Хапте и говорит старухе:

— Давай, старуха, головню.

Колотит головней Железного Лука и приговаривает:

— Говорил я: не ходите воевать на отца Семирукавого. Отняли оленей, — так вам и надо.

И убил.

А сыновьям своим говорит:

— Это Семирукавый вас дразнит, воевать зовет. Не ходите, спите.

А Семирукавый все воюет. Тот брат, которого он когда-то хореем обраниял, взял стрелу с семью якорями, — у него тоже была, — стрелил, угодил в Большого Неулкуку. Стрела дальше пошла, Большого Неулкуку с собой поволокла и к чумам других Неулкуку принесла, к самым дверям уперчила. Люди из семьсот чумов Неулкуку освободили своего старшего, а он и говорит им:

— Вставайте скорее на войну. В земле большого брата Тасиня Семирукавый воюет, пособить Тасиняем надо.

Когда дошли до земли Тасинеев — там уже всех убили, один Большой

Тасиней жив: из-под железа из дырочек один глаз блестит.

Стали люди Наулкуку воевать против трех.

Семирукавый зарядил две стрелы, нацелился в большого Тасиня и выстрелил. Стрелы сорвали с него железную одежду, остался он голый. Семирукавый лук бросил, подбежал с ножом к Большому Тасиню, отрезал ему и усы, и уши, и нос. И всех новых Неулкуку убил. Из всех Тасинеев одна девка — жена его — по чумовищу ходит.

¹ Няпой — несколько обозов, аргишей.

Угнали тогда всех оленей, на-трое разделили. Брат, которого он обранил, поставил чумы там, где Семирукавый череп отца и железные когти нашел. А сам Семирукавый с Березовым Луком на сторону в свою землю ушел. А который сказку эту ведет — вместе с братом обраненным чум поставил. И сейчас живут».

13

День круговой да свет даровой — хоть сутки напролет поезжай. А ехать нельзя, пока олени не наелись, силы не набрались.

От безделья я Дарье ответно сказываю:

— В эту красную пору бывало по путине соберемся, едем круглые сутки. Не спим — не лежим, гребем да гребем с прискоком. Где-нибудь к берегу приткнемся, чайник согреем и опять едем. А когда в море выедем и Большую Землю из глаз потеряем, там чайники прямо в лодке кипятим. Глины в лодку натопчем, земли наложим потолще, чтобы лодка не прогорела. Якоря в море бросим, тут и чайники кипятим, и рыбу жарим, и спим, и лежим, и песни поем, и причитанья причитаем, и сказки сказываем, и от стариков старины¹ слушаем.

Но не думала я тогда, что про путину да про море буду сказывать я посередке тундры Большой Земли, и что слушать меня будут и дальние ненцы, и наезжие да наплавные люди из Москвы.

Тимофей — тугоухий: голову перекосит, хочет слушать, а все же не каждое слово ему в ухо попадает. Где не дослушает, ему свои ребята досказывают. Послушает он да вдруг и вскочит, выйдет из чума и уходит в стадо: как-никак, а главный ответчик за оленей.

Вот как-то приходит Тимофей из стада, слушает, как Леонтьев небылую небылицу плетет:

¹ Старины – былины.

— Жили-были сорок братьев. Поехали на сороконогой кобыле отца крестить. Отца на сани повалили, сами сели и поехали...

И оборвал его:

— Бывает, хватит врать-то. Ямдать будем.

Когда стадо пути не знает, оно за стадоводчиком ходит и на него надежду кладет. Так и мы. Пока Тимофей не торопит, мы сами свои, что хотим, то и делаем. А как отдал он команду, тут мы ему подначальны. Он для всех нас был работник по званью, хозяин по знанью.

Чего только не знает ясовой — путеводчик в тундре! Когда он пути да дороги ищет, он не под ноги смотрит, а на звезды, когда звезды горят, на солнце в вешнюю да в летнюю пору, на вершины сопки, на елки. И ветры, и полет птицы, и поздней весной да ранней осенью иней, и кора деревьев да кустов тундровых — все говорит путеводчику, — куда путь держать. И всю жизнь читает ненец эту книгу про небо и про землю. И всю жизнь она ему не надоедает.

Не раз в пути я удивлялась Васе, шестнадцатогодовалому сынишке Тимофея. Три года назад проехал он по этим местам. Везли его из Воркуты с ученья в свой чум. И с тех пор запомнил он каждую сопку, каждую озеринку, каждую пустяшную протоку.

Едем мы поперек озера. Я в голову не взяла, что у него и название-то есть. А Вася говорит:

— Это мое озеро. Ненцы его зовут Васюк-ты.

Я Тимофея переспрашиваю, не верю Васе. Только и Тимофей по-Васиному говорит:

— Молодец, — говорит, — помнит.

Справа речка али ручей какой-то синееет. А Вася и ему имя знает:

— Это, — говорит, — Илей-шор. Это твой, Илья, ручей.

А Илье не до ручья: сон ему матери родной дорожке.

Справа из-под неба сопка зачернела. А Вася тут как тут:

— Хальмер-мыльк¹, — говорит. — А слева хребет — Хальмер-Мусюр².

В тот день по трудному да опасному пути пришлось нам перебираться через одно озеро. Берегом ехать кусты мешали. Пришлось спуститься на лед, хоть и знали мы, что на весенний ледок надежды класть нельзя. Вот и едем. От первых нарт лед ходуном заходил.

По живому льду нарты идут, как лодка по волнам. Сани за санями едут, и лед чем дальше, тем больше прогибается. Последние нарты вовсе на краю страха идут: лед весь в щелье да в дырье. Однако проехали мы через гиблое озеро без особого купанья.

В тот день доехали мы до большого озера Харбей. Вася про него уже давно речь вел:

— Большое это озеро да рыбное. На Харбее и зимой, и летом люди с Воркуты рыбу ловят. Целый поселок там стоит, и от того поселка до Воркуты тракторная ворга проложена.

За длинный вешний день нагнало солнце в Харбей воды с берегов да из ручьев — разливное море: и в заберегах вода, и в полыньях да промоинах вода, и по всему озеру наледная вода блестит. Брели олени по колена в воде; хорошо, что нарты у ненцев высокие, не скоро на них залъется. Кое-как перебрались мы через Харбей и с высокого берега увидели рыбацкий поселок. Он стоял в глубокой лахте, вблизи протоки из какого-то другого озера. Поселочек тот и маленький, из пяти-шести изб да землянок, а нам, после голой тундры да после чумов, он и в таком пустом месте за город показался. Окна от солнца огнями блестят, трубы железные над крышами стоят, дым от них, как от пароходов идет. На берег люди вышли, около них собаки вертятся.

¹ Мыльк — сопка.

² Мусюр — хребет.

Ехать всем нашим аргишам к поселку было не по пути. Поехали туда только Вася с Леонтьевым да Илья. У них вышел весь табак, и хотели они раздобыть у рыбаков махорки в обмен на мясо. Пришли они с добычей к нашему новому становищу только вечером...

Вздумалось мне прогуляться по тундре при ночном солнце. И светит оно не по-денному. Свет вешней ночью какой-то голубоватый. И сопки, и кусты, и елки кажутся глазу маленькими, меньше, чем днем. Звезды на небе на весь трехмесячный день погасли. Луну еще и видно, а все же и она не та, будто ее обокрали: и свету в ней настоящего нет, и красы полной не видно. Плывет она по небу бледная, неживая какая-то, как подстреленный лебедь по голубому озеру.

Каждый кустик в тундре, каждая веточка будто сном спят. Тихо кругом тебя и покойно: к ночи все люди кроче¹, да и вся земля и вода знают свою пору. Одни только ручьи сыздалека, словно дальняя гроза, прогремливают да ветер-полуночник прошумит прошлогодним листьем, и обдаст тебя вольным духом вешним, как морской волной. И сон от тебя отойдет, и забота отпадет, и легко тебе станет, будто ты в жаркий день воды напилась.

Бродила я, бродила и набрела снова на куропаточье гнездо. Чуть не запнулась я за куроптиху, а она сидит, не встряхнется, не взворохнется. Иная кура на гнезде и та шевелится, когда человек подойдет, а куроптиха сидит себе, шейку в себя втянула и смотрит. Глажу я ее, приговариваю:

— Тихая птичка, сера куропатка, жалостлива матка. Нету тебя жалостливей, нету тебя ласковей к витому гнезду, к малым деточкам. Сиди на своем гнездышке, грей да парь, да детей выводил. Выведешь да выкормишь до полного перья, до летучего крылья, до громка голоса — станешь со своими птенчиками подлетывать. По тундрам

¹ Кроче — более кротки.



высоким, по низким наволокам, по частым лесам, по густым кустам будешь ты перелетывать всей своей семьей. Прилетай тогда в наши места, в печорские края, себе — на гулянку, ребятам — на забаву, нам — на потребу.

Когда куропатки гнездятся, добрый человек их не тронет: ружьем их не бьет и силем не ловит. Так и оставила я куроптиху мою в гнезде, саму не согнала и яичек не взяла...

Теперь к Воркуте нас вела широкая тропа, промятая тракторами. Шла она по отлогим и длинным холмам, пересекала широкую реку Сейду и какие-то гремучие ручьи. Где бродом, где плавом везли нас олени все ближе к новому тундровому городу Воркуте.

Выросла Воркута не на дальних годах: нашли ученые люди на незнамых берегах уголь — и, как из ящика сказочного, который Тенеко в тундру привез, город невиданный вышел. И красуется он редкой черной жемчужиной. И жемчужину ту сам Сталин на ладони своей высоко поднял. И пришли мы к тому городу по следам сказок.

Приехали мы в Воркуту 15 июня. За полтора месяца одолела я полторы тысячи верст. С высокого берега Воркуты за новым сказочным городом я вижу хребты Уральского Камня, все еще в зимней одежде. Тут край Большой Земли.

Прошла я самую большую нашу тундру из края в край, с запада на восток, в весеннюю бездорожную пору. И до смерти будет стоять у меня в глазах тундровая краса: уму-разуму — на вспомин, а сердцу — на радость. Не велика выслуга найти красу во саду зеленом: там она сама в глаза пихается. В северных наших краях — своя краса да приятность. Но увидит их и почует только зоркий да чуткий.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЕКОЙ – СУХОЙ НОГОЙ, ЛЕСОМ – ПАРУСОМ

1

Еще за два дня до приезда в Воркуту мы ни о чем больше не говорили, как только об этом городе. Тимофей, Дарья и Вася наперебой рассказывали о том, как они ездили туда в прошлые годы. Вася окончил там пять классов, а отец с матерью каждую осень привозили его и каждую весну приезжали за ним. Ненецкие ребята где ни учатся, а на лето все равно рвутся в свои олени края, поближе к чуму, к олешкам, к оленьим телятам, к своему тундровому бытию. Тянет их свое природное житье среди простора да приволья, летней теплыни да светлоты и легкого, непостоянного ветра.

Приедут за Васей мать али отец и неделями гостят в Воркуте, пока олени отдохнут и наедятся. Вот они и насмотрелись да нагляделись на все, чего раньше видом не видали.

И сейчас они мне говорят, будто хвалятся да хвастают своим городом, в котором ни я, ни Леонтьев, ни Петря с Ильей никогда не бывали. И, наверное, думают они, что, кроме них, никто из нас и городов не видал.

— Беда большой город, — говорит Тимофей и головой крутит.

— Беда большущий, — соглашается Дарья, — на двух берегах чумы стоят — не таки, как наши: из матерого леса да из красного камня. Высокие да широкие: один чум — наших сто надо.

И разводит руками. Дарья научилась от Васи считать до ста, а больших чисел не знала. А Вася смеется:

— Однако, мамка, из сотни ты не больно широкий чум сделаешь. Там на одну электростанцию тысячу наших чумов сложить — и то мало будет. Из тысячи чумов разве школу нашу выстроишь.

Дарье не любо, что сын пересмешничает. Глянет она, надуется, пофыркает, помолчит, да снова за те же речи:

— Вот я на шахту «Капитальную» к одной начальниковой женке в гости ходила, дак чум-то ихний побольше твоей школы будет. Женку Анной зовут. Добрая. Чаем поила, маслом кормила.

— Любишь, небось, масло-то, Дарья? — подзадориваю я.

— Масло — царь-еда, — отвечает Дарья, а сама усмешки не обронит. — Вот приедем — опять на «Капитальную» пойду. Анна все про наш разговор ненецкий спрашивает да про наше житье. Говорит: «Как вы хлеб пеките¹?» да «Какие свадьбы, справляете?», да «Как ребят лечите?» — «Хлеб, — говорю, — когда в котлах, когда на палках пекем. Свадьбы, — говорю, — как все люди, с вином да с песнями, да с гармошкой справляем. Вот прежде, — говорю, — не так свадьбы вели. Парень девку брал только из своего рода: Валеи — из Валеев, Тайбарей — из Тайбареев, Сядеи — из Сядеев. Не то, что двоюродные братья да сестры между собой женились да замуж выходили, а и родные братья да сестры, бывало, свою кровь мешали, и отец и дочь за мужа и жену были. И свадеб никаких не было, одно пьянство. Напьются допьяна да сырого мяса наедятся, да на оленях кругом чума объедут и спать пойдут».

¹ Пеките — печете.

Долго сказывала Дарья про городскую свою подругу Анну, про ее разговоры душевные, про ее угощение сладкое. И снова начинала с мужем да с сыном спорить: кто чаще бывал да больше видал, да тверже упомянул все, что есть в славном городе Воркуте.

И мне после этих рассказов до полуночи думалось. А после полуночи растолкала я Дарью и говорю:

— Вставай-ко, Дарья, да слушай. Вот у вас, ненцев, сказка сказывается:

«Жил-был в тундре богатырь и чародей Тенеко. И владел он сундучком заветным: где его откроет — там город стоять будет, как закроет — город обратно в сундучок уйдет».

И, видно, — говорю, — когда ваш чародей помирал, закрыл он свой сундучок: ведь к нашему веку ни одного города в ненецких тундрах не осталось. Да не только закрыл, а, видно, в землю его где ли закопал, как клад заветный.

— Знаю-знаю, — говорит Дарья, — эту сказку. От бабушки слыхивала.

— А не слышала, — говорю, — ты, что Тенеко на сундучок свой заклятье положил. И теперь кто найдет тот заветный клад, на свет белый подымет, откроет сундучок, — город из него выйдет да на все веки тут и останется. А сундучок снова закроется и в другом неизвестном месте в землю уйдет. Сколько раз его люди найдут, столько в тундре и городов будет. Сундучок открывается, закрывается, пропадает, а города остаются.

— Этого не слышала, — говорит Дарья.

А я дальше свое веду:

— Так вот, слушай. Когда здесь, на Воркуте-реке, ученые люди раскопали уголь, нашли они этот сундучок, открыли его — и остался город.

— А сундучок где? — спрашивает Дарья.

— Сундучок, — говорю, — свою дорогу знает. Скрылся он снова в землю в назначенном месте.

— А теперь кто его найдет?

Как, — говорю, — кто? А мы-то зачем едем? Этот самый клад заветный искать будем.

— Да ну? — удивляется Дарья. — А Тимофей говорил — карасин искать велено.

— Вот что, — говорю, — Дарья. Скажу тебе тайное слово, только помалкивай, не всем сказывай. Сдается мне, что сундучок возле этого карасина и должен быть.

В эту ночь я опять комариным сном спала. И до утра я слышала, как Дарья с боку на бок ворочалась, тоже до утра шевелилась да копошилась.

Когда солнце до востока дошло, услышали мы в первый раз дальний-дальний тягучий гудок. Долетел он до нас с вольным утренним ветром, будто медовик¹ в чуме загудел.

— Шахта «Капитальная», — отозвалась Дарья. — Как комар поет. А в Воркуту приедем — уши береги; как медведь ревет.

Зевнула и прибавила:

— Далеко еще: три побердо будет.

По-Дарьиному и вышло: проехали мы после этого не меньше тридцати километров и попали в город только к концу вторых суток.

Сначала показались нам снежные горы.

— Камень, — говорит Петря: так все ненцы называют полярный Урал.

На белых окатистых боках Урала чернели какие-то покривленные тычки, будто сломанные штормом мачты. Долго нам пришлось ехать, пока мы различили, что это стрелки подъемных кранов. Тогда показалась какая-то постройка, высокая, как колокольня, только без крыши.

¹ Медовик — шмель.

— «Капитальная»! — кричит Дарья. — Анна-то вовсе рядом живет.

Чем ближе мы подъезжали, тем больше видели. По обе стороны шахты «Капитальной» дома стоят, как спичечные коробки набросаны. И вот мы уже в такой близости, что Вася в приметные дома пальцем тычет и рассказывает:

— Это — школа моя... Это — театр городской... Это — электростанция... Это — управление «Воркутстроя».

В стороне от Воркуты дымили в разных местах трубы каких-то поселков.

— А это что за поселки? — спрашиваю я Васю.

Это другие шахты, а возле каждой поселок. Три года назад их и половины не было, да и те только начинались. Ох, и растет Воркута!

От города к поселкам столбы, как вехи, рельсы проложены. И видно нам с высокого берега, что скоро все эти поселки не иначе как с городом сольются.

— Вот это город, — говорю. — Три года назад Воркута городом назвалась, а наш Нарьян-Мар далеко позади оставила. Широким шагом пошла.

Река Воркута голубой лентой город на-двое перерезала. Настоящая Воркута на другом, на левом берегу — вокруг шахты «Капитальной» выстроилась. На нашем берегу — тоже вокруг шахты — свой город вырос.

— Воркута Вторая, — назвал его Вася.

Обе половины города вдоль и поперек рельсами опоясаны. И бегают по тем рельсам груженные углем и пустые поезда. А главная железная дорога, что из Москвы ведет, проходит мимо шахты «Капитальной», вдоль всей Воркуты.

Петря смотрит на поезда, улыбается и говорит:

— Железные аргиши... Вон куда их Сталин послал...

По обоим берегам реки огороды раскинулись. Ползают по ним тракторы, стрекочут, как кузнечики, и волочат за собой многолемешные плуги и заводские бороны. Тимофей

с Дарьей поставили чум на самом высоком месте правого берега и пустили оленей пастись. А мы пошли искать экспедицию.

Под Воркутой Второй, куда мы спустились пешком, мы нашли еще один поселок. Он стоял по самый край реки. Кроме десятка домов, тут стояли еще два чума.

— Поселок Яран, — объявил Вася.

И заводит нас в один дом. В нем жили две ненецких семьи. Хозяин один из них — Николай, черный, высокий, на редкость среди ненцев бородатый мужик, — признал Васю.

— Опять учиться приехал?

— Лето-то не учатся. В экспедицию пастухом нанялся.

Признал Николай одного, а с ним так и всех нас за знакомых сосчитал. Самовар закипел, жарговаривал. И сласти, и белый хлеб, и Дарьица царь-еда — масло — появились. И под чай разговоры:

— Как живешь, Николай? — спрашиваю.

— Хвастать не люблю, сама посмотри.

По двум горницам весело играли трое малышей: один ходил да гудел вместо трактора, а двое сажали вслед за ним камушки и называли их «картошкой».

— Что это, — говорю, — у тебя ребята-то больно малы?

— Не мои, — говорит, — это сыновние.

— А сын-то где?

Потемнел он лицом: на фронте его сын погиб. Как могла, утишала я Николаеву печаль. Поговорили с ним по душам, сказала про свою потерю, и вроде обоим нам легче стало.

— Не за стыдное, — говорю, — дело наши сыновья погибли: им — слава, а нам, отцам да матерям, — гордость.

Зато теперь Гитлера из наших земель как большим вихорем несет. Есть еще у нас сыновья. У сыновей — сила храбрая красноармейская да ярость неиздержимая, у нас, отцов да матерей, — вера нерушимая, у Сталина — правда путеводная. Храбрость да ярость, вера да правда — два добра вместе — что против них устоит?!

Про экспедицию нашу Николай ничего не слышал.

— Бродит их тут дивно, а кто их знает — куда да откуда... На лбу не писано... Я вон раньше в Тиманской тундре жил, дак все экспедиции знал и все начальники меня знали. Первое время не понимал я дела. Они меня все про камни спрашивают, а я откуда знаю, какой им камень нужен. Ну, коли где-то видел — расскажу по совести.

Один анжинер вызвал меня из тундры на Индигу, показывает на стакан и говорит:

— Не видал ли ты, Николай, вот такого камня, чтобы свет сквозь него видно было?

— Как, — говорю, — не видал? Много видал.

Повел его на Иевку-реку, довел до вершины и показал. Смотришь сквозь него на пятнышко, а видно тебе два пятна.

Мне они всего и не расскажут, что хорошего нашли, а находили дивно. По Черной речке, на Чайцыном камне, по Тиманскому хребту, по Индиге — до Богатой ямы, где Железные ворота, — везде мы что-то ценное да дорогое находили. Одного не могли найти — «золотого червяка».

— Какого «золотого червяка»? — спрашиваю я Николая.

— А это — плитка золота: с палец толщиной, больше, чем два спичечных коробка. Говорили: от большого камня эта плитка отколупнута. Нашел когда-то на веках какой-то Выучейский ту плитку, да испугался и бросил.

Лето цельное мы с Леонидом Давыдовичем по Богатой речке ходили, только плитку и искали. Каждый белый камешок обстукали, а не нашли.

Вот на речке Лямце золото есть. Промывали мы. На Румяничном носу серебро простым глазом видно, прямо наверху: мы и ножиками ковыряли, и молотками били. Место это прямо у моря. Два раза меня геологи премировали.

И медь где-то есть, а вот этого камня я не понимаю. И магнит — не знаю что такое, а при мне по Черной речке в двух местах ямы рыли, нашли его. На Светлой речке я уголь показал Шемеловичу. А он говорит: «Не наш это уголь — приносный, от Урала».

Пожалуй, он и не врет.

Прослышал я, что здесь, на Воркуте, коренной уголь нашли, всей семьей сюда поехали. Думал — добро мне будет. А тут война, сын в неотворотную дорогу ушел. Извещение получил — ноги у меня сдали. Больше я, видно, по тундре не ходок.

— А чем живешь-то? — спрашиваю.

— Да вот рядом-то у меня олений совхоз. Оленей-то у него много тысяч по тундре бродит. И работы мне до смерти хватит: с нартами да с упряжью вожусь. Живу я опять на таком месте, что мимо меня никто не проедет да не пройдет — ни конный, ни пеший, ни дьявол, ни леший. И экспедиции все по старой памяти ко мне за подмогой да за советом идут...

В Яране я ходила смотреть здешний скотный двор. Он стоял рядом с домиком Николая, длинный как колхозный зарод¹ сена в травянистый год. Заглянула я туда своими немаленькими глазами, вижу: от стены до стены по обе стороны стойла стоят, а посередке скотницы в белых халатах расхаживают. Попросила я их показать мне все хозяйство.

— А ты, — говорят, — с чего задумала к нам заглянуть?

— Я, — говорю, — вековечная коровница: дай вам бог выкормить да выпоить, вырастить да раздоить столько коровушек, сколько я на своем веку через свои руки пропустила...

¹ Зарод — стог.

Провели меня женки по всему двору. Вижу коров — рогатых и комолых, черных и красных, белых и пестрых — полным-полно. На ногах они высоки, костью широки, шерстью гладки, мясом мягки, вымя — до колен, — какой-то заводной породы.

— Откуда, — спрашиваю, — таких красавиц вывезли?

— Из Холмогор, — говорят женки.

Вот я хожу среди коров, глажу их да приласкиваю:

— Пеструньки да буренушки, красульки да белонюшки! Куда это нас с вами занесло? В тундрах ли вам бродить? Гулять бы вам сейчас в широких лугах да зеленых травах на сладких росах, отдохнуть бы на желтых песках под угревым солнышком.

— А здесь-то чем им худо? — взъелась на меня одна скотница. — Свежей ключевой водой поим их, кормим отрубями да жмыхами к сену надобавок. Кормим во пору, доим вовремя, моем дочиста, чистим догладка. Чего еще им надо?

— То, — говорю, — и хорошо, что неплохо. Посытей кормите да поласковой говорите, — будут хозяек знать и молока больше давать. Корова, она не хуже человека заботу ценит...

Хожу я по Ярану; люди встречаются снарядные, не как мы, дорожные люди, в тобоках да малицах. Мужики в костюмах ходят, женки да девушки — в легком городском платье. Навстречу мне идет девушка, и в руках у ней большой, как веник, букет цветов. Цветы, вижу, не наших краев.

— Где, — говорю, — ты набрала их?

— Да вон, — отвечает, — в оранжерее.

И показала рукой. Пошла я туда и вижу: на самом конце Ярана стоят два домика со стеклянными крышами, такие же как теплицы у агронома Кругликова в Нарьян-Маре, только больше и просторней.

Зашла я под стеклянную крышу, и кажется мне, что я в другое царство попала: в саду ли, в раю ли я — не пойму. Стены, как хмелем, какой-то раскудрявой травой обвиты. Под стеклом на высоких наклонных столах в горшочках лиловые звездочки разных цветов красуются тут в полном расцвете, людям на погляденье. И ни которому я имени не знаю, кроме роз, нежных да розовых, как наша северная вешняя заря.

И дивовалась я, и думала:

«Вот тебе и тундра — неродимая земля! Кто эту красу видел, у того язык не поворотится неродимой нашу землю назвать. Прежде сюда из теплых краев только птицы залетные прилетали. А теперь вот нашла тундра-матушка себе хозяйина, и все ей стало подначально. Города к тундре прижились. Клады заветные нашлись. Сама Москва сюда заботливую руку протянула. И вот на хозяйскую заботу, на сталинскую ласку отозвалась тундра горячим сердцем Воркуты, песнями гудков заводских, сполохами всех цветов нездешних, плодородьем огородов невиданных. Красуйся и дальше, моя родимая, тундровая, таланистая земля!»

2

Вот и собралась наша экспедиция в одну семью. Старший в нашей семье — начальник экспедиции Донат Константинович Александров.

Сначала он мне не поглянулся. Тихий, как линной гусь¹, лишний раз он не шевелится да не встрепенется, голос у него негромкий, слово скажет изредка, будто нехотя. Я и думаю:

«Неужели такие тихие начальники живут?»

— Оленей привел? — спрашивает он Леонтьева.

¹ Линной гусь — гусь во время линьки.

Выслушал и говорит:

— А мы думали — не достанешь оленей. Чуть обратно не уехали.

Вот и вся его беседа. Рыжеватый до гололобый, он сидел на стуле, будто врос в него, и покуривал трубочку.

Когда Леонтьев про меня сказал, Александров отвечает:

— Что-нибудь придумаем.

И зовет нас обедать. За обедом вокруг стола собралось нас восемь человек.

Кроме начальника да меня с Леонтьевым да Ильей, здесь обедали еще четверо. Один из них — годами постарше и лицом старообразный: густобровый, волосатый, небритый с дороги. Громкоголосый: когда он заговорил — не только я, пугливая, вздрогнула, а и две геологши пролили суп, не донеся до рта, а потом смеялись:

— Ты, Игорь, в трубу трубишь или так говоришь?

Одна геологша, вижу, ни голосом, ни волосом Игорю не уступит. Полная не по росту, густоволосая, чернобровая, нос горбинкой, когда она хохочет — весь стол трясется, тарелки звенят. Игорь в долгу не остается, отшучивается:

— Это, интересно, гром грянул али вы, Ия Николаевна, изволите смеяться?

Вторую геологшу звали Женя Каменева. Такая же горбоносая, как Ия Николаевна, она могла бы сойти за ее младшую сестру, только мешали рыжие волосы в длинных косах да веснушки на щеках. Она тоже много смеялась.

Не болтали да не хохотали только двое: наш Илья, которому здешний обед больше смеха глянулся, да еще один молодой красивый паренек Саша Васильев. Хоть ел он и плохо, а за весь обед слова от него не услышали. Он прислушивался к шуткам Игоря да к тому, как тараторили геологши, и улыбался тихой и скромной улыбкой. Потом я узнала, что Саша Васильев в экспедицию приехал коллектором, а до этого партизанил в тылу у немцев вместе со всей своей семьей.

За стаканом кофе разговорились о делах: как жить, как быть да как дело вести.

— Олени у нас теперь есть, — говорил Александров. — Полтора ста голов для одного отряда хватит. Других полтора ста получим в колхозе имени Смидовича по распоряжению Карского тунсовета, которое Николай Павлович привез. Но вот беда: у нас нет и половины нарт для груза. А главное — упряжи совсем нет. Что делать?

— Искать сыромятную кожу, — говорит Леонтьев. — А нарты в оленсовхозе купить.

— Нарты купим или сделаем. Это — деревянная беда, как-нибудь с ней справимся. А вот как мы с кожаной бедой справляться будем?

И рассказал нам Александров, что он за сыромятной кожей во все дыры совался и везде отказ получил. Сколько мы ни ломали свои головы — ничего придумать не могли.

Дни за днями катились, а кожи ни на земле, ни на ветках не росли. Кони мимо нас ездят, коровы — видим — кое-где бродят, а шкурами с нами не поделаются: самим нужна.

Той порой все мы сдружились да познакомились. Начальник с геологшами да с Игорем и Леонтьевым жил в помещении той самой школы, в которой учился Вася Хатанзейский, Тимофеев да Дарьин сын. Меня Леонтьев поместил в гостиницу. А столовались мы в одном доме на квартире воркутинского жителя Платона Ивановича Мащенко, у которого жил Васильев. Начальник увидел, что я не худо пеку да варю, жарю да парю, и определил меня поварихой. Вот я и бегаю у плиты. Продуктов разных в экспедиции много, варить да жарить есть из чего.

Часто я пекла пироги с мясом, с изюмом, готовила печенье, плюшки, пирожки, ватрушки.

— Клад, а не Романовна, — твердил Донат Константинович.

И все спрашивает меня: как я тесто заправляю, сколько чего туда кладу, долго ли выдерживаю, на каком жару пеку.

— Я, — говорит, — в Ленинграде таких пирогов не ел. Приеду — передам женке все твои секреты. Она у меня балерина, в Мариинском театре танцует, и дочку шестилетнюю тоже на балерину учим...

Илья поселился к завхозу экспедиции Морозову Ивану Петровичу. Там же, около всех грузов, жили еще двое наших рабочих — Саша Костин и Адя Красильников.

Помещались все они в овощном складе «Воркутугля». Морозов в экспедиции всех старше: ему за пятьдесят. Плечистый да казистый, с густыми бровями, с большими усами, он, когда выпьет, — за молодого сойдет. А выпить он любил: хлебом его не корми, а выпить не откажи. Спирт у него всегда рядом стоял — тут и безгрешного в грех приведет, а слабому человеку как отказаться?! Пьяному ему и молодости, и жизни вроде прибавлялось: и пел, и плясал, и за девками гулял. А то иной раз выпьет, глаза остеклеют, и начнет рассказы рассказывать: как в гражданскую войну где-то воевал, как в эту войну под бомбежку в Москве попал, какие у него друзья есть сильные да братья проныристые. Вином да хвастаньем и жил Иван Петрович, а дела не делал.

Начальник наш да и все мы сначала величали да почитали Морозова. А потом присмотрелись — видим, что дело у него мимо глаз проходит, а в руки не попадает, и надели на него.

Александров его пристрожил.

— Опять пьян? — корит Морозова начальник.

А тот перед ним рассыпается:

— Донат Константинович! Пусть меня из партии исключат, коли я вру. Два дня как животом болею.

— Твой живот без вина не живет, — сердится начальник. — Вот мы мотаемся здесь, кожи ищем. Скажи — чье это дело: геологов или твое? Ты хозяйственник?

— Хозяйственник, — соглашается Иван Петрович.

В тот же вечер Морозов вовсе перепился и ребят споил. Адя, Саша и Илья — все трое еще на фронте, видно, были вином балованы. А тут, раз их угощают, как они откажутся? Ребята они молодые, так по старшему ровнялись.

Ночью я ходила по Воркуте. Встречаю начальника.

— Пойдем, — говорит, — Романовна, склад посмотрим.

Сторож склада знает нас и запустил без лишних разговоров. Вот подошли мы к той комнатке, где наши жили, и видим: все в чем были, в том и спят. Один Саша Костин, пьяный до того, что нас не узнал, сидит над стаканом спирта и бормочет:

— Ни во грех, ни во гнев, а во здравие старшего сержанта русской авиации.

Мы знали, что Саша в самом деле в авиации воевал старшим сержантом был. И до того нам смешно стало, что и начальник весь свой гнев забыл. Услышал Саша наш хохот да начальника увидел — лишний хмель-то с него соскочил.

На другой день начальник такого нагоняя Морозову дал, что тот почти на неделю пьянку бросил...

Той порой дело наше вперед, а не назад шло. Саша Костин съездил с одним пастухом из Воркутского оленсовхоза куда-то верст за сорок и привез оттуда десятка полтора нарт. Остальные нарты для нас ненец Николай приготовил. Петря выстрогал для упряжи, которой еще не было, деревянные шелаки — что-то вроде пуговиц для застежки оленьих лямок. В кузнице воркутинской Платон Иванович, у которого мы столовались, отковал нам кольца, через которые продеваются ремни от упряжи, для того, чтобы ремни катались и чтобы можно было оленям ровнять друг дружку при езде в упряжке. Не хватало нам только упряжи, для которой все это делалось.

Однажды в нашу столовую заходит Дарья и зовет Александра:

— Начальник! Говорить хочу.

— Говори! Дарья, говори...

— Из гостей я пришла. У Анны была, знаешь, начальников женка на «Капитальной».

И знаешь, что видела? У ограды ремень резиновый лежит. Вот такой широкий...

И Дарья размахнула руки на сколько могла.

— Старый ремень-то, ношенный. С какой-нибудь машины сняли да бросили. Там он не нужен, а тебе, бывает, пригодится.

Донат Константинович чуть не расцеловал Дарью. Как он сделал, мы так и не узнали, а только в ту ночь на наш склад этот ремень был прикачен.

— Вот из этого можно упряжь делать? — спрашивает начальник Петрю.

— Лямки как не можно? Сама хороша будет. А на ремни не годится.

Да тут же Петря и кроить лямки начал.

Прежде говорили: одна беда идет, другую ведет. А нынче стали чаще говорить: одна удача идет, другую ведет.

Так и у нас: на тех же днях пришла из Москвы телеграмма, что нам разрешено купить на кожевенном заводе четыре сыромятных кожи. Тут мы уж и ночи не спали, все бегали. Получили кожи, дали им обвянуть и ремни кроить начали.

Пока на Воркуте жили, на наших глазах город переменялся: то какой-нибудь дом под крышу подведут, то от готового дома леса уберут, то пустое место вспашут и картошкой засадят, то новую гостиницу в дело пустят, то мост через реку наведут.

В полую воду к Воркуте Второй люди попадали через перевоз. Чтобы водой не унесло, мост на весну убирают. А тут еще до спада воды пора пришла мост наводить. Случилось, что воркутинцы закупили на свои трудовые копейки одиннадцать поездов угля. Весь уголь они отправляли в подарок Ленинграду. А сколько-то из этого угля

лежало на Воркуте Второй да на других шахтах по правому берегу Воркуты-реки. Без моста уголь не перевезешь, вот и взялись строить.

Вода в Воркуте все еще вровень с берегами стоит, быстерь как на оленях тащит, — где тут, думаю, сладить с бешеной водой. А работные руки ничего не страшатся: взяли кто силой, кто сметкой, за дело схватились, так не отступились. Выволокут сзади за лодками кóзла большеногие и на середке реки ставят их на ноги. Водой их перевернет да утащит ниже Ярана, а тут уже другие козла плавают.

Настелили на козла досок да с них и сваи бить начали. Не деревянными бабами бьют (у нас их барсами зовут), а машинами да паровыми молотами, — только стукоток стоит. Столб поставят — как кол заткнут. Через малое время вижу — сваи, как чайки, рядами над водой белеют. А еще через день и поезд из Воркуты Второй уголь к железной дороге подтащил. При нас уголь в вагоны грузили, при нас и людей выбирали в Ленинград этот уголь везти.

Когда у нас было все изготовлено, Александров собрал всех своих работников и говорит:

— Время у нас из рук упущено, так надо, ребята, натягать, не пожалеть себя, поднатужить. Тундра — она с чудовинками. В работе в пути, в дороге — все мы помех немало встретим. И трудно нам будет, а мы свой шаг не убавлять, а прибавлять должны. Вот тогда и время догоним, и дело осилим.

И начал людей по отрядам разбивать.

— Отряду Ии Николаевны я даю сто тридцать оленей и двух пастухов: Петра Хенерина и Михаила Валея из колхоза имени Смидовича. Путь вам дальний: до реки Коротайки дойдете, да по Коротайке от вершины ее притоков до Сарамбая, да по Сарамбаю пройдете, а оттуда переметнетесь на реку Талату и выплывете в Хайпудырскую губу Баренцева моря на Синькин нос. С боковыми заездами тысячи

полторы километров наберется. В этот отряд я даю старшего коллектора Леонтьева, — он в тундре бывал, — и рабочего Костина.

А меня не поминает. Когда про отряд Каменевой заговорил — тоже своего имени не слышу. Помянул он меня под самый конец. Говорит:

— Голубкова будет работать в моем отряде...

Тут уж меня и выдернуло:

— Хороший ты человек, Донат Константинович, огневить тебя не хочется, а только с тобой я не поеду. В экспедицию не с того я через всю тундру приехала, что на золотистую гривенку польстилась. Вон воркутинцы городу Ленинграду свой уголь в подарок шлют. От своего желанья дарят, от чистого сердца, от полной души. И про это вон газеты пишут и радио говорит. А у меня два сына, ясных сокола, городу Ленина жизнь свою в подарок отдали. И газеты про них не писали, и радио не кричало. Один Сталин-отец золотым своим словом опочетил:

— Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины.

Так вот я, простая русская мать, набралась силы и смелости, и хочу рассказать добрым людям о своих сыновьях-героях. А человек-то я не письменный, только при советской власти читать выучилась. Вот и нужно мне быть вместе со своим подпарщиком, с Николаем Павловичем. Семь годов мы с ним вместе работали: мои слова, его рука.

Игорь высунулся.

— Романовна, — говорит, — я между делами все тебе запишу, только пирогами нас корми.

— Записать, — говорю, — и Илья может, как и пироги состряпать. Так ведь какие пироги получатся, захотят ли люди взглянуть на них, не то что есть. И ты, Игорь, не с того куста ягода, не в том бору выросла. А мы с Леонтьевым с одного бора —

с Архангельского. Потому он за словами моими душу видит: любую думу на лету поймает, никакого самородного слова не оборонит.

Я упрюсь, так палкой носа не расшибешь. Пришлось Александрову согласиться. Морозова начальник решил увезти в тундру: от кузницы дальше — копоты меньше. Склад велено было Аде Красильникову принимать: он инвалид, и склад — дело для него подручное.

Когда из колхоза имени Смидовича пришли олени с двумя пастухами, мы засобирались в путь-дорогу по-настоящему.

Перед выездом нашего отряда устроил нам начальник спроводины. Собралось друзей, братьев да товарищей полное застолье. Кроме Платона Ивановича, угодил на спроводины его приятель Павел Михайлович Платов. Он работал главным инженером на строительстве нового кирпичного завода и чуть не весь вечер про свой завод говорил:

— Кабы один только завод строить, а то и жилые дома поднимай, и столовые рубли, и амбулаторию с больницей не упусти, и баню не забывай, и железную дорогу веди.

И добавлял:

— Через два дня к заводу широкая колея пройдет. От нее узкоколейка на пять километров тянулась. А с перегрузкой, знаете, какая канитель. Ну, да теперь вздохнем. К Октябрьской завод в эксплуатацию сдадим. Ну, и завод, я вам скажу — последнее слово техники. За год надо двадцать миллионов кирпичиков Воркуте дать...

Маленький, круглый, широколицый, с синими глазами, с тихим голосом, Павел Михайлович так и остался у нас в памяти. Запомнился надолго и Платон Иванович — ростом высокий, плечистый, с мозговитой головой и веселыми карими глазами. Он помог нам и в Воркуте прожить.

Стахановцем он был и в шахтах, где не один год уголь добывал, стахановцем и сейчас остался, когда ему все мастерские в Воркуте подначальны. Руки его ничего не боялись: могли молотом бить и золотом вить.

Спроводины свои мы справили, провели пир да беседу, переехали по железной дороге через новый большой мост, да тут же на правом берегу и палатку свою, свой шатер белополотняный, разостлали. Провожали нас все, кроме Морозова да Жени Каменево́й с Ильей. Зато всех троих заменил Платон Иванович. И радостно нам было, что с места стронулись, и тоскливо с друзьями расставаться. В отъездный час радость и боль всегда вместе живут.

Пришли олени, приехали трое пастухов: Петря и двое новых из колхоза имени Смидовича. Один из них такой страшный, что я испугалась: маленький, кривоногий, с большим брюхом, с длинными руками — чуть не до земли. Но самое страшное в нем — небольшая голова, с угрюмыми большими глазами, хмурыми бровями, большими ушами и густой гривой, которой он, наверное, от роду не мывал. Зубы у него выдались вперед, губа отвисла, а под ней — щетинистая борода. И одежка ему подстать: грязная, как и он сам.

— Вот, — говорю, — зверя нам прислали...

Донат Константинович только сейчас объявил пастухам, кто с кем едет:

— Сейчас с Ией Николаевной пойдут олени колхоза имени Смидовича. Старшим пастухом будешь ты, Хемерин. А ты, Вале́й, слушай Петра; он старше.

А Ивану говорит:

— Ты, Иван, пойдешь в чум к Тимофею и будешь ему помогать. Вместе с Тимофеем через денек-другой со мной поедешь.

Иван глазки наострил, зубы оскалил и говорит:

— С Вале́ем поедес. Свои олески поедес.

Леонтьев ему твердит:

— Иван, раз начальник говорит, значит так нужно...

— Не нусно...

Уперся — и хоть кол на голове теши.

Александров через Петрю выпросил Ивана, почему он не хочет его послушать. Иван отвечал:

— Мой ум так ходит: в своем стаде я каждого оленя знаю, а в Тимофеевом не знаю. А Петрю вы сюда суete, — он здесь оленей не знает. И места здешние Петря не знает, — какой он старший? А Михайло Вале́й — молодой, тоже места не знает.

Все это мы понимали, а только братъ Ивана никак не хотели: не поглянулся он нам, а на Петрю мы во всем могли положиться, не мал конец с ним проехали.

Александров еще раз приказал. И видим мы, что Иван на этот раз согласен.

— Хоросо, — говорит.

И тут же нам объявил, что заберет у Михайлы свою половину чума.

— Да ведь у Тимофея чум хороший. Зачем тебе еще полчума?

— Мой чум...

Как начальник с Леонтьевым ни крутились, а не могли Ивана уломать. Пришлось нам взять с собой и Петрю, и Михайла, и Ивана. Александрову, бедному, остался один Тимофей. Конечно, Дарья, в случае нужды, могла заменить пастуха в стаде, а Вася с Кимом и за третьего пастуха могли сойти.

Бедный наш начальник на все был согласен, только бы поскорее нас в тундру выпроводить: около нас уже кружились первые комары.

Так мы и расстались.

3

Впереди нас ждали незнакомые реки. Только названия одни я слышала: Сядей-Ю, Тар-Ю, Коротайка, Сарамбай, Талата. Сколько чего они нам готовят? Чем они нас встретят? Как примут?



Знала я, что надо будет нам каждый бугор вытропить, каждую размоину обшарить, каждую укатинку выползать, в ином месте одним следом десять раз пройти. А тундра — ой, широка: сколько в ней этих бугров да укатинок, да размоин.

Тундра-матушка, как на ладони, в глазах стояла: пролегли по ней старинные невысокие хребты. В разлогах¹ между хребтами текут незнакомые реки. И на тех реках не на каждом берегу проложен след человеческий. На тихих заводях птица непуганая дремлет, род да племя свое растит, жиру к зиме набирается. По кустам да лесам медведи хозяевами бродят, зайцы прячутся, волки рыскают. На высоких сопках куропти беседу ведут, а за председателей у них седые и умные птицы — совы. И над всем этим — солнце наше полуночное, неяркое, зато ласковое. Не от той ли ласки любая травка и любой цветок за недолгое наше лето и вырастают, и расцветают, и плод дают?!

Одиннадцать нарт насобиралось в нашем аргише. Идут они не по ровной дороге, за всеми нужен глаз да глаз. Я вела двое груженных нарт, пастухи — по три на каждого. С первого шага Леонтьев помогать начал: увидит, что лодка на кочке качнулась и упасть готова, — поддержит ее; заметит, что олень упал, — пастухов окликнет, запутается олень в упряжи — на ходу распутает. Он сам, как олень, вдоль аргиша носился.

На диких клочьях первые нарты сломались. В другом месте первая лямка порвалась. В третьем — первый воз опружился², сухари и сахар первой водицы с болота глотнули.

Первая стоянка наша была возле чума Ивана Соболева и Михайлы Валея. Он стоял на краю крутого кряжа, на сухом месте, как на островке. Рядом с чумом мы и палатку раскинули. От Воркуты мы отъехали семь верст, и за горбом она от нас сокрылась. Внизу, под кряжем, какая-то речка текла.

— Семиверстными шагами шагаем, — говорю я начальнице.

¹ Разлог — долина ручья или речки.

² Опружился — опрокинулся.

А той не до меня: в накомарнике ей душно, а на воле первые комарики щиплют.

Зато Саша как именинник ходит: рад, что место сменил. Смеется Саша и говорит Леонтьеву:

— Пугал меня комарами, а я еще и накомарника не надевал. Прибавки не будет, так еще можно терпеть.

На другой день утром и Леонтьев отличился. Все утро пробродил, приходит и рассказывает:

— Вдоль речки пошел я кверху, вижу — за поворотом не близко от меня стая лебедей плавает. Два матерых лебедя — казак да матка — около другого берега держатся, а возле них два лебеденка спуют.

Набрал я полные сапоги, а речку перебрел. Забрался на берег, пересек высокий мыс да еще добрую сотню сажень прополз. А сапоги — пудовики, и на всем на мне от воды да пота сухой нитки нет. Подползаю к тому месту, где лебеди должны быть, и вижу...

Помолчал Леонтьев и рукой махнул:

— Две шапки пены к берегу прибились, — их на перепаде накрутило, — а около этих моих лебедей в завертях малые грудки такой же пены крутятся. Плюнул я, сел и давай воду из сапог выливать...

Пришлось мне учить Николая Павловича:

— Ни на реке, ни на ручьях лебедя не ищи. В здешних местах лебедь на болотах да на озерах живет. На иных озерах трясучие островочки есть, — ни человек, ни зверь туда не ступит, — вот в таких местах любят лебеди племя выводить. Спросил бы ты меня — не принял бы трудов напрасных, знал бы, где упасть, — соломки бы подложил...

Теперь к нашему аргишу прибавились еще двое нарт с семейным чумом Валея и жена Михаила Татьяна с трехгодовалым сынишкой Митей на легковых нартах.

А всего в нашем аргише насобиралось четырнадцать нарт, а людей — девять человек.

Пока жили мы в Воркуте, нам казалось, что все пути закрыты. А чуть успели сшевелиться — путей хоть отбавляй. Могли мы ехать по тракторной дороге обратно на Сейду, по Сейде кверху — до конца, а оттуда — на реки, которые выбегают в Коротайку: Сядей-Ю, Тар-Ю, Подымей-Вис. Можно было ехать по другой тракторной дороге прямо на Коротайку, к тому месту, где в нее выпадает Нямда. Можно было между двумя этими дорогами еще сотню других дорог проложить. А уверенно мы не могли ни одной дороги выбрать: у начальницы не было карты от Воркуты до Сарамбая, где нам велено было начинать работу. А с одним компасом, без карты, только большие знахари ходят. Только наши пастухи могли нас выручить. Однако и тут без помешки не обошлось: пастухам мы не доверяли.

Легче всего было довериться Петре: с тихой речью да с простой душой, он как приворожил нас к себе. Заботный да работный, он без дела есть не сядет, без заботы спать не ляжет, из любой беды в тундре выручит. Да все дело в том, что в здешнем углу Большеземельской тундры он мест не знает. Михайло и места знает, и парень он толковый, да только при его годах надежду на него положить мы не смели: в случае какой промашки мы все дело провалить могли, и среди дороги сесть.

Иван в здешних местах и родился, и рос, и остарел тут. Все места здешние он знал, как у рук пальцы, мог сам брести и других вести. Однако и на него нельзя было положиться. И по виду, и по взгляду, и по делу скорей мы вреда от него ждать должны были, а не пользы. Еще в «Кара-Харбее» Петя Абраменко рассказывал про него:

— Есть в колхозе Смидовича один старый тундровый кулак Иван Соболев. Две тысячи оленей у него было. Вот теперь ему, после легкой жизни да после безделья,

рядовым пастухом в колхозе работать немило. Зол он и на колхозников своих, и особенно на русских. Как-то захожу я к нему в чум, а он на меня зубами скрипит:

— «Роч!»¹

Вез зимой Иван одного парня — коми Гришу, продавца из Янгарея. Остановились в одном месте — дать оленям передышку, стоят, от оленей отвернулись, на звезды да на сполохи смотрят. Вот Иван и спрашивает:

«Скоро Гитлер в тундру придет?»

Парень смеется:

«Гитлер скоро своего места не увидит, не только нашу тундру».

Смотрит Гриша на сполохи и рассказывает про то, как начали мы немца колотить да гнать, а фашисты пятки подбирать да хвосты утягать.

«Быть, — говорит, — бычку на веревочке, а твоему Гитлеру на вешалке».

Оглянулся Гриша, а ни Ивана, ни оленей и в помине нет, только по-над дальней сопкой курева стоит. Остался Гриша один среди тундры, сел и запел: «Вот тебе и Иван!» Чуть не пропал было парень на морозе. Да на широком месте и без морозу зимой погибнешь. Только на вторые сутки подобрал его кто-то из Янгарея, случайно на Гришу наехал.

Илья наш, когда ездил за пастухами и оленями в колхоз имени Смидовича, видно, забыл этот рассказ. Вот ему и подарили подарок. Из-за этого и Александров хотел держать Ивана под своим глазом, да тот перепер, на своем поставил и поехал с нами.

Вот мы и не доверяли ему.

Боялись мы, а сами знали, что Петря хоть и бригадир, а вести нас может только Иван. А Иван обиделся, что его бригадиром не поставили, и помалкивал. А для начала все же показал дорогу:

¹ Роч — русский.

— Сюда, — говорит.

И вот плывет наш аргиш, как в море караван, и не знает, куда: капитан из веры вышел, штурман карты потерял, матросы ничего не смыслят, пассажиры ничего не умеют. Плывет караван вдоль каких-то ручьев, добирается до их вершины и переваливает в разлоги новых ручьев. Доплывем мы до какой-нибудь сопки, остановимся, Петря с Иваном да Михайлом заберутся на макушку сопки и смотрят против солнца из-под руки, будто три генерала своим войскам пути выбирают.

Усмехается Иван, взглянет на Петрю и спрашивает:

— Ну, куда, бригадир, теперь итти?

А Петря духом не падает. Попал к нему каким-то чудом маленький бинокль, с каким по городам в театрах смотрят. Вот вынет его Петря из кармана, развернет из клетчатого платка и с полчаса разглядывает тундру, будто это место он и знает. Иван не вытерпит, тоже к биноклю тянется.

— Дай-ка эту штуку посмотреть.

Пока он к ней применяется да смотрит, Петря перекинется словом-другим с Михайлой и уже знает, куда путь держать. Когда все насмотрятся да покурят, Петря покажет Ивану с Михайлой на какую-нибудь приметинку по-под небом, куда надо путь держать, и по-командирски говорит:

— Сюда.

И снова плывет наш караван по буграм, как по волнам, мимо речек неизвестных да озер неведомых.

Тундра к той поре живым взглядом взглянула, повеселела, как смешинку проронила. Озера из белых голубыми стали, реки большой вал пронесли и теперь текли вольно, без удержу. Только кое-где под высокими горбами да под крутыми



берегами белели пластины плотного лежалого¹ снега. Он налился водой, захряс в пору вешних приморозков и теперь будет лежать далеко за половину лета. Когда я еще недоростком, была, помню, идешь за морошкой, спускаешься к ручью попить, а вместо воды снегу напьешься и морошкой закусишь. А нынче лето ли жарким стало, снега ли тонки, а только по круглому году снег не держится, солнце быстро его съедает.

Кусты как зеленым дымом задернуло. На мелкоярнике полный лист развернулся, на тундровом березнике — в полулист, на ольшанике почки только разворачиваться начали.

Мох из-под снега вышел белый, снегом всю краску обьяло. А теперь между старым белым мохом проскочил зелеными сторожками молодой вешний мох, и тундру как зеленым сукном подернуло. В полную силу цвела морошка: по зеленому сукну раскинулся морошечный цвет серебряными звездочками. И в темную осеннюю ночь никогда не увидишь на небе столько звезд, сколько высыпало их сейчас по тундре. Забурел лист медвежьей ягоды, и между листьев желтеют ее цветки. На черничных кустиках цветочки зелеными колокольчиками свесились, продолговатые листья голубики в полной красе красовались.

Ехали мы, не различая дня и ночи. Вторая наша остановка была в вершине какого-то ручья. Свежий ветер шалопутный переметывался с одной стороны на другую и обдувал комаров. Лежа рядом с палаткой, мы отдыхали после позднего обеда. Ия Николаевна попросила меня:

— Романовна! Люди говорят, что ты сказки мастерица рассказывать. Скажи, а мы послушаем.

— Слушай во все уши, в голову клади да в память бери, да людям скажи. А сказку мою зовут:

¹ Лежалый — слезавшийся.

Стрелец-молодец

«Где-то, край неба, жил пребогатый царь. Был он холостой, богатства имел без меры, без счета, и много держав ему подчинялись.

Был у него хороший работник. Больше всего любил он охотиться: каждый день уйдет утром, а на обед приносит государю уток и гусей — и царю, и гостям хватало. Так его и прозвали стрелец-молодец.

Однажды взял работник свой каленый лук и пошел за утками. Далеко идет. Вот вышел он на край моря. День погожий выпал, небо синее, и море синее, и вода в нем тихо волнуется. И видит стрелец: между синими волнами золотая утка плавает. Взял он свой лук, хотел застрелить утку. А утка говорит ему человеческим голосом:

— Не стреляй, молодец, я тебе когда-нибудь пригожусь: если не как невеста и жена, так хотя как бабушка.

И подплывает к нему.

— Возьми, — говорит, — меня, молодец, и неси к себе домой.

Так и сделал стрелец-молодец. Принес утку домой, а она и учит стрельца:

— Больше, — говорит, — не носи царю ни гусей, ни уток. Все равно ни чести, ни хвалы от него не получишь. Лучше поставь меня на окно, а как будет полночь, бей меня по голове.

Ровно в полночь стрелец-молодец ударил утку по голове — и обернулась она в прекрасную девицу: такая у ней красота, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И на дворе сразу вырос большой да богатый сад. А в середине сада стоит винное озеро. А в озере плавают золотые рыбки да утки.

Красна девица обняла стрельца-молодца и поцеловала.

— Вот, — говорит, — дорогой жених, будь моим верным мужем.

Сыграли они тут же свой свадебный пир. Много людей на том пиру сидело, и сам государь сидел.

Зажил со своей женой стрелец-молодец. А государю скучно стало. И решил он в уме известить стрельца-молодца, а жену его себе взять. И сказал про это своему советнику.

— Поможешь, — говорит, — убить стрельца-молодца, получишь три тысячи рублей.

Пошел советник на морской берег. Попалась ему навстречу баба-яга, кривоглазая, длинноносая, горбатая, волос черный, ногти длинные и зубов нет.

— Здравствуй, царский советник, — говорит, — знаю, куда и зачем ты идешь. За сто рублей научу я тебя, как известить стрельца-молодца. Воротись, — говорит, — обратно к царю и скажи, как я научу. Пускай царь pošлет стрельца-молодца туда, где остров Буян. На острове гуляет золоторогий олень. Пускай приведет его через трое суток. Если не приведет — голова долой. Пускай царь даст ему полтораста матросов, самых пьяниц, и сорок бочек водки. А корабль пусть даст с дырявым дном.

Пришел к царю советник и доложил, как научила баба-яга. Послал царь гонца по стрельца-молодца, чтобы тот сейчас же явился. Простился стрелец-молодец с женой и горько заплакал. А жена и говорит:

— Не тужи, муженек, это еще не горе. Горе будет впереди.

Пришел стрелец-молодец, до земли царю поклонился. Отдал царь приказ, как велела баба-яга. Когда вернулся стрелец-молодец обратно к жене, рассказал про задачу, а та и говорит:

— Ложись, дорогой муж, спи до утра спокойно.

В двенадцать часов ночи взяла жена шелковое полотенце и вышла на крыльцо. Махнула она полотенцем — откуда ни возьмись олень: рога золотые, шерсть серебряная. Разбудила она мужа и велела вести оленя в корабль. Завел стрелец-молодец оленя в корабль, — никто не видел.

Утром скомандовал стрелец-молодец своим матросам. Подняли они паруса и отправились на восток. Отъехали недалечко, бросили якоря и пировать начали. В это время призывает царь жену стрельца-молодца. Она и говорит ему:

— Зачем меня звал, царь-батюшка?

А царь ей ответ дает:

— Хочу я взять тебя замуж.

— Неужели, — говорит она, — у тебя, царь-батюшка, теперь новый закон. Разве можно чужую жену отобрать?

— Я, — говорит царь, — сам законщик. Захочу — возьму силой: сила через закон всегда переступит.

Вскочила тогда она на ноги и обернулась в золотую утку. Вылетела через окно и села на море. Когда наступили третьи сутки, увидел царь мачты корабля и повесил голову.

— Неужели, — говорит, — это стрелец-молодец едет?

Прибежал корабль, остановился у пристани. Командует на палубе сам стрелец-молодец. Прилетела тут золотая утка, села на палубу, снова красавицей обернулась, обняла и поцеловала мужа. Вышли они на берег и сдали царю золоторогого оленя. Поблагодарил государь, дает пятьдесят копеек награды.

Еще хуже стало царю, повесил он голову. Потом собрал он большой пир, созвал своих приближенных людей и объявляет им:

— Даю большую награду тому, кто поможет извести стрельца-молодца.

Снова пошел царский советник на морской берег. Снова встретила ему прежняя баба-яга. Говорит:

— Не тужи, молодец. Дай мне ладонь золота — научу я тебя, как извести стрельца-молодца.

Отдал советник горсть золота, и начала она его учить:

— Иди к государю и доложи ему мое слово. Пускай он пошлет стрельца-молодца за тридцать земель, чтобы привез он такую штуку, что он видом не видал, слухом не слышал и глазами не глядел.

Простился советник с бабой-ягой и воротился к царю-батюшке. Царь встречает его с радостью. Рассказал советник все, что слышал от бабы-яги.

Позвали стрельца-молодца к царю. Пришел он, поклон до земли отдает.

— Иди, стрелец-молодец, — говорит царь, — в тридевятое царство, в тридесятое государство. Привези мне то, что я видом не видал, слухом не слышал, глазами не глядел.

Воротился к жене молодец, голову повесил.

— Не беспокойся, дорогой муж, — говорит жена, — ложись, спи: утро вечера мудренее.

Рано утром будит она мужа и дает ему клубок шелковых ниток и вышитое полотенце.

— Если, — говорит, — где умоешься, утирайся этим полотенцем. А клубок держи за конец нитки: куда покатится, туда и иди.

Попрощался с женой стрелец-молодец и отправился по белу свету. Куда клубок катится, туда и он идет. Идет он долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, — попадается река без моста. Клубок катится прямо в реку, а впереди молодца вырастает мост. Где гора попадает, там ему ворота открываются.

Через полгода вышел он на чистое место. Видит — стоит на лужайке хрустальный дом. Подошел молодец к двери, стучит пальцем. Отворилась дверь, и навстречу вышла старушонка, а сзади нее две красные девицы стоят.

Приглашают они его, велят отдохнуть. Посадили за хрустальный стол и начали пировать. А молодец умылся с дороги и стал вытираться своим полотенцем. По вышивке и признали они, что стрелец-молодец — их зять: у старушки было три дочери, а одна из них летала золотой уткой. Обняли они зятя, расцеловали. Стали пить да пировать.

— Вот, родная теща... — говорит стрелец-молодец и рассказал ей про свою беду.

Подумала теща и говорит:

— Пока отдыхай у нас три месяца, а после я тебя научу...

...А дома царь опять зовет к себе жену стрельца-молодца. Пришла она, поклонилась.

— Что тебе, царь-батюшка, нужно?

У тебя, — говорит царь, — муж убит во чистом поле. Силой я тебя возьму замуж.

Велит царь своим слугам закрыть все окна железными решетками, чтобы не улетела она уткой. А она обернулась мелкой пташечкой, пролетела через дымоход, вылетела из трубы и села в царском саду...

Прошло три месяца. Вышла теща стрельца-молодца на крыльцо и кричит великим голосом: созвала она всех зверей земных. Пришли звери к своей государыне, отдают ей большой поклон.

— Что прикажешь, государыня?

— Просьба до вас великая. Кто из вас знает такое дело, чтобы я его видом не видала, слухом не слыхала, глазами не глядела?

И крикнули ей звери в один голос:

— Государыня великая, мы про это не знаем!

Тогда вышла она на морской берег, махнула рукой и кричит:

— Плывите ко мне, все рыбы морские!

Подплывают рыбы по волнам и до дна кланяются своей царице.

— Что прикажешь нам, государыня?

— Просьба до вас великая. Не знаете ли вы такого, чтобы я видом не видала, слухом не слыхала, глазом не глядела?

И крикнули ей рыбы громким голосом:

— Государыня великая, мы про это не знаем!

Опять пошла теща на высокое свое крыльцо. Опять махнула рукой и кричит:

— Летите ко мне, все птицы летучие!

Прилетели птицы, поклонились:

— Что прикажешь, — говорят, — то и сделаем.

— Просьба до вас горячая. Не видали ли вы то, что я видом не видала, слухом не слыхала, глазом не глядела?

Запели птицы громко и ничего не ответили.

В четвертый раз махнула она рукой, и собрались все твари земные: гады, жуки, мыши и лягушки. Поклонились они ей, говорят:

— Что прикажешь, — говорят, — то и сделаем.

А та говорит:

— Просьба моя последняя. Не знаете ли вы то, что я видом не видала, слухом не слыхала, глазом не глядела?

Отказались твари, говорят:

— Не знаем.

Еще просит старуха ответа:

— Все ли здесь собрались или кто-нибудь остался?

Один жук и отвечает ей:

— Лягушка одна осталась: ноги ей телегой переехало.

Послала за ней старуха крупных жуков. Через пять минут сдают ей лягушку. Старуха и спрашивает ее:

— Не знаешь ли ты, лягушка, такое дело, чтобы я видом не видала, слухом не слыхала, глазом не глядела?

А лягушка отвечает:

— Почему не знаю, матушка-царица, если я там и живу...

Отдает тогда теща зятю платок. Велела она ему положить туда лягушку и сделать в платке дырку для головы, чтобы лягушка могла показывать, куда идти стрельцу-молодцу.

Попрощался стрелец-молодец со своими свояченицами и с тещей и отправился с лягушкой в путь-дорогу. Шли они да шли, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли. Через трое суток дошли они до места, где стояли три дуба на одном корню. А под дубами ведет под землю чугунная лестница. Вот лягушка и говорит стрельцу-молодцу:

— Чему буду учить — слушай меня. Спускайся по этой лестнице до дубовой двери. Зайдешь через дубовую дверь в комнату, там слева стоят три шкапа. Отворяй двери первого шкапа, спрячься туда и запришь. И слушай оттуда все, что там будет делаться. А потом сам догадаешься, что нужно делать.

Так и сделал стрелец-молодец. Посидел сколько-то в шкапу, слышит: идут двое и песни поют. И видит: вошли в комнату двое, ростом немного больше четверти. Сами с ноготок, а бороды у них с локоток, по земле волочатся. Вошли они и громко крикнули:

— Ум-разум, приготовь мне обед!

А обед уже на столе стоит да и с водочкой. Вот наелись они и опять кричат:

— Ум-разум, убирай посуду!

Запели песню и обратно куда-то пошли.

Вылез стрелец-молодец из шапки и тоже кричит:

— Ум-разум, приготовь мне обед!

А обед готов, да и с водочкой. Пригласил стрелец-молодец:

— Давай, Ум-разум, вместе со мной обедать.

Вот сели они вместе и разговаривают. Ум-разум и жалуется:

— Я тыщу лет у этих стариков работаю, а ни разу они меня не накормили. А ты вот с первого раза обо мне позаботился.

— Ну, так брось на них работать, пойдём, Ум-разум, со мной.

И с радостью Ум-разум согласился. Вышли они на землю, взяли с собой лягушку и пошли обратно. Вот Ум-разум и говорит:

— Ты, стрелец-молодец, добрый хозяин, я тебе худа не хочу. Не останавливайся ты у тещи в гостях. Они тебе измену сделают, они все волшебницы. Оставь ты им лягушку, а сами пойдём дальше.

Так и сделал стрелец-молодец. Теща и свояченицы слезно просили остаться, а стрелец-молодец не послушал их и не остался. Оставил им лягушку, а сам — в путь. Вот и говорит Ум-разум:

— Пойдем-ка немножко покруче, что-то тихо идем.

— Пойдем быстрее, — согласился стрелец-молодец.

Схватил его Ум-разум, поднял над землей, и полетели они по воздуху быстрее стрелы.

Кричит на лету стрелец-молодец:

— Уронил я свою шапку!

А ему Ум-разум ответ дает:

— Твоя шапка осталась за три тысячи верст.

Прилетели они к царским землям, а там послал царь навстречу сорок тысяч солдат, чтобы убили стрельца-молодца. А сам царь сидит на балконе на двенадцатом этаже и смотрит в подзорную трубу.

Вот Ум-разум и просит стрельца-молодца:

— Дозволь мне воевать с царским войском.

Приказал стрелец-молодец.

— Воюй, Ум-разум, не оставляй ни одного на семя.

И сразу вся сила царская легла, как трава. Это Ум-разум косил войско саблей-самосеком. А напоследок и у царя отсек голову.

Прилетела из сада пташка, обернулась женой, обняла стрельца-молодца и много раз поцеловала. А весь народ окружил стрельца-молодца, и назначили его царем. И царь с царицей дружно жили много лет. А Ум-разум и сейчас народу служит».

Поглянулась всем моя сказка. Весь вечер судачили в палатке про стрельца-молодца да про Ум-разум. Ия Николаевна и говорит мне:

— Теперь, Романовна, тебе работы еще прибавится: каждый вечер сказки сказывать заставим.

5

Ровно в полночь ветер стих. И вот отовсюду полезли к нам в палатку комары. Столбами да тучами поднимались они над тундрой, и в палатке их — как туман наплыл. С той поры не было нам от них покою.

— Теперь, — говорю, — прощайтесь, ребятушки, со спокойными ночами да с добрым сном.

— А скоро они пропадут? — спрашивает Саша.

— Что ты, Сашенька, — говорю, — они тебя ладом еще ни разу не укусили, а ты уже пропасть ждешь. До снега комары продержатся. Цветки, — говорю, — эти комарики. Впереди еще ягодки ждут — обжористая мошка.

А Саша и сейчас терпеть не может. За одну ночь расчесал себе кожу за ушами и на лбу, и на шее. Всю ночь он не снимал накомарника, а утром смотрит в зеркальце и видит, что и распух он, и кровь колобками насохла. Чуть не плачет Саша.

По привычке терпели укусы комариные Петра, Михайло, я и Леонтьев. Разрисуют они нас, как горностаи снег, а мы и во внимание не берем.

Что всего удивительнее, комары даже и не глядели на Ивана, не только не садились.

— Иван, — спрашиваю, — ты что, отводишь комаров-то. Заговор какой знаешь?

— Своих комары не едят, — отвечает Иван по-ненецки.

Часто Иван темнел лицом и над чем-то задумывался. Едет он на своих нартах и не видит, где едет.

«Доброе ли он замыслил?» — думалось мне. И чем больше я к нему присматривалась, тем беспокойнее было у меня на сердце...

Позади моей легкой упряжки оленей шли на прицепе еще трое груженных нарт. На одних нартах была нагружена большая новая лодка, примерно на тридцать пудов. Лодка еще не бывала на воде. Вот она колыхалась с горки на горку, да где-то ее землей захватило за корму и стянуло с нарт. А я понукаю оленей, еду себе и не обертываюсь назад. С километр так проехала и заметила. А рядом, сзади меня, все время Иван ехал. Олени идут след в след, и, наверно, ему лодку объезжать пришлось. Не от доброго же он сердца не окликнул меня и заставил потом весь аргиш стоять, пока Петря за лодкой съездил. С той поры и Петря с Михайлой косо поглядывали на Ивана: видно, хорошим товарищем его тоже не считали.

На одной стоянке Петря выбрал место для чума и палатки наверху большого холма. Этот холм будто огорожен маленькими сопками. А между сопкок озеро, как из ворот выглядывает: круглое, синее, вода светлая. Брось на середину кольцо золотое — увидишь. А вокруг озера зеленой опушкой берега замкнулись. Когда мы подъезжали, с озера стадо уток черной тучей поднялось.

— Ну, — говорю, — как бы утки на своих крыльях всю воду не унесли.

Отдохнули, чаю попили, начали судачить — куда дальше ехать, и Петря говорит:

— Сейчас ямдать нужно.

С чего-то Иван на поперечку пошел:

— Не нужно ямдать.

— Как не нужно, — горячится Петря, — стоять не нужно: комар в силу войдет, всех оленей задавит.

Иван на своем упорничает:

— Олески беда худо. Стоять наперво надо.

А потом по-ненецки:

— Будешь торопиться — на полпути олени пропадут. И мы пропадем, пешком не выйти. Два дня стоять надо. Три дня стоять надо. И лодку надо осмолить.

Хотел было Петря на своем вывести, да не знает, куда путь держать.

Все равно пути не знаем... Без карты куда поедешь...

Волей-неволей, стоять надо.

Стоим.

Ночью подул свежий ветерок, окреп — и комаров будто не бывало. Первый раз мы вышли из палатки без накомарников, в легкой одежде. Легли отдыхать прямо на траве и не боялись, что комары нас заживо съедят. Раскинулись на траву на зеленую, на цветы на душистые да запашистые. Солнцем обогревает, а ветерком схолаживает — душе и любо.

Краше этих трех дней мы за весь путь не знали. В хороший день все тяжести и невзгоды забываются.

А начальница наша Ия Николаевна в дело худо вникала. Видно, комары ей голову здорово нажгли. Торопилась она тоже и на травке повалиться, и в светлой озерной водичке покупаться, и вволю отоспаться, и веселым разговором позабавляться. А раз пилось да елось, да веселиться хотелось, да дорога тяжелая на ум не шла, так и дело не двигалось.

Ну, а недаром говорят: каков чорт хозяин, таков и чорт работник. Пастухи дежурили по суткам: двое спят, один дежурит. Саша по тундре с ружьишком бродит. А мы с Леонтьевым книгу пишем.

В тот же день мы приводили в порядок лодку. В Воркуте мастера не успели ее ни проконопатить, ни просмолить, ни уключины приделать. Вот мы насобирали, да наломали дров, разожгли костер и начали распаривать да разваривать пек; пришлось его нам вместо смолы с собой взять. Той порой мужики проконопатили лодку и залили швы пеком. А потом разожжем докрасна железный прут и красным концом проводим по залитой варом конопатке. Вар расплавится, зальет все щелочки и ровным слоем покроет весь шов.

Просушили мы лодку и на другой день стали пробовать. Спустили лодку на озеро, видим — не течет.

— Надо узнать, сколько она поднимет, — говорит Леонтьев.

Залезло нас в лодку пятеро, — борта высоко над водой. Еще трое забралось, да и Митрю Татьяна с собой затащила: все еще запас есть.

— Тридцать пудов верных подымет, — высчитали мы.

Еще раз просушили лодку и осторожно, чтобы пек не обить, погрузили ее на нарты и залили водой, чтобы солнцем борта не разодрало...

Когда ходила я собирать дрова, заметила на окати одной сопки чьи-то норы.

«Не иначе, — думаю, — это песец».

Сказала я это своим, а Саша схватил лопату и говорит:

— Как хочешь, Романовна, пойдем, покажи. Ближе, чем на километр песка еще не видал.

Пришлось мне итти. За нами и все остальные, даже пастухи с Татьяной, смотреть пришли. Нора у песка, как и у лисицы, с двумя выходами. Оба выхода мы зарыли землей да заложили дерном и начали копать со середины. Копаем и слушаем, как в норе пищат да ревут по-своему маленькие песцы.

Когда докопались до самой норы, как трубу ее перекопали и развели над норой костер. Дым идет в нору, а они, слышим, там мечутся. Саша руки наладил — песка схватить.

— Смотри, — говорю, — парень, чтобы руки тебе не отхватил.

Только успела я сказать, а из норы выметнулся серый, как заяц, зверек, на ходу кусанул Сашу за руку, да столько мы его и видели, за кусты ускакал. А Саше и не до песка, только на руку свою смотрит, как из нее кровь ручьем бежит. Морщится он от боли, рукой трясет и говорит:

— Неужели песцы такие сумасшедшие бывают?

— А ты хотел, чтобы он тебе в ручки дался? — смеюсь я. — Это тебе не с собачкой играть.

За песцом-маткой один за другим выскакали маленькие, как щенята, песцовые малыши. Я насчитала их тринадцать штук. Все они одной шерсти — голубые, и у каждого на носу черное пятнышко. Недаром у ненцев про песка загадка есть: «Один человек черный уголек в зубах носит». Бежать по-настоящему они еще не могут. Вышли на волю, — не знают, куда и ползти. Была бы я близко к дому, всех бы взяла, как ягнят бы вырастила. А тут только одного взяли мы на руки, повертели, посмотрели, да и того отпустили.

За три дня стоянки у озера сдружилась я с семьей Валеев. В чуме у них, чтоб комары не донимали, всегда дымок стоял: все время макодан был прикрыт куском оленьей шкуры. Я выбирала время, когда Иван дежурил в стаде, заходила в чум гостьей и здоровалась по-ненецки:

— Ань торово!

Татьяна торопилась меня усадить, потом садилась за швейку и начинала шить. А Михайло любил загадки.

Вот я ему и загадываю:

— Два волка бежат, сами на небо глядят, про людей говорят?

— Нарты, — сразу отгадывает Михайло. И тут же мне загадывает: — Две собачки все время лают в небо?

— Тоже нарты, — говорю.

Вот мы с ним и бьемся: кто первый отгадать не сумеет?

— Царь ходит по горке, царица по подгорью, царь царицу кликнет, царица ему мигнет?
— Гром и молния, — говорит Михайло. — Теперь ты отгадывай. Внизу молния блеснит, вверху шаманы шепчут?

— Чайник на костре кипит.

И по взгляду вижу, что угадала.

— Черная гагара по лесу летает, золотые орехи она загребает?

Вот этой отгадки Михайло никак не придумает. Он, может, никогда и не видел, как кочергой в печке шуруют. Михайло загадывает:

— Человек зашел в землю по колено?

— Ножик в ножне. А ты угадай: ел-ел барашек и в ясли вскочил?

— Тоже ножик в ножне. Ты отвечай! Что такое: летом опадают, к зиме растут, летом нюк¹ одевают, зимой бересто; одни съямдают, другие на старое чумовище приезжают?

— Рога оленьи.

— Дай-ко мне загадать, — просит Татьяна. — Весь человек — глаза и промеженье?

А я беру у нее из рук ножницы и ей же отдаю. Татьяна еще пытается:

— Тащится змея с костяной головой?

— Тынзей.

У хороших тынзеев, плетенных из оленьей кожи, на конце всегда есть костяная петля.

— Впереди — кость, сзади — железо, посреди — дерево?

— Хорей.

У хорей на толстом конце — копье железное для упора, для пробы льда и для защиты от зверя. А на тонком конце — костяна пуговка, чтобы хореем оленей не вредить.

А Татьяна в задор вошла:

— У Тита остались одни ребра?

¹ Нюк – верхняя одежда чума из оленьих шкур.

— Это, — говорю, — шесты у чума, когда с него нюк и поднючье снимут.

— На мохнатой сопке двое нарт?

— Уши.

— На десяти мысах костяные чашки?

— Ногти на пальцах.

— Лосиная шкура вся в свищах?

— Небо и звезды.

— Три шамана одного больного не могут вылечить?

Вот этой загадки я не разгадала. Легко ли додуматься, что три дыры в чуме от дыма его спасти не могут.

А Татьяна довольна. Тогда я им обоим задаю загадку:

— Бездонная бочка полна мяса?

Оба головы ломают и оба не угадают. Когда Михайло отступился отгадывать, я показываю на золотое кольцо, что у него на руке, и он догадывается. А напоследок и меня своими ненецкими загадками озадачил:

— Деревяшка тащит, костяшка секет, мартышка подхватывает?

Я отгадать не могу, и Михайло отгадку не говорит. Только осенью я у него спросилась.

— Человек ест, — говорит, — ложка подносит, зубы секут, язык подхватывает.

6

Здесь, на середке Большеземельской тундры, на берегу того же неведомого озера, начали мы с Леонтьевым работать над книгой «Война народная».

В немалых годах я, рукам моим оружие не под силу, а дума моя вольная в седой голове богатырем ходит. Ходит моя дума по землям нашим разоренным, по городам

разгромленным, по деревням попаленным, ходит и лютого гнева набирается. Видит моя дума мученья людей советских полоненных, работу подневольную, непосильную, моря слез материнских, вдовью муку неизбывную, девью честь опоганенную, слышит крики стариков и плач ребятишек. И все, что она видит, и все, что она слышит, — все ей гнева придает. И вот распалится моя дума да разъярится, и летит она в поле ратное, и встает там рядом с моими сынами, плечо о плечо, и наливается верой, и вместе с нашими вожжами говорит:

— Наше дело правое. Враг будет разбит.

И одевается моя дума в слова, как в доспехи богатырские, в одеванье неизносимое и несокрушимое.

Для каждой думы надо найти свои особенные слова. В простой речи нашей печорской, в песнях да в плачах, старинах¹ да сказках слова живут, как в больших морях рыба плавает. Умом своим забираю я из тех морей слова, как широким неводом, а потом говорю их, будто рыбу на берег выкладываю.

Вот и разбираем мы слова, как рыбаки рыбу: крупную — от мелкой, ценную — от нестоящей, путную — от беспутной откладываем. Чтобы рыбу разбирать — рыбаком родиться нужно. Природный рыбак любую рыбу с полувзгляда поймет, еще в неводе ее видит.

Когда выбираешь слова ясные, как красный день, прямые да верные, то твердые, как кремень, то теплые, как живая кровь, и вся речь будет рассудливой да складной. И донесет она твою думу до каждой разумной головы. И на трепет твой сердечный каждое отзывчивое сердце откликнется таким же трепетом.

А моему вереженному сердцу не раз пришлось потрепетать, пока я рассказывала про войну народную с лиходеем Гитлером. Ни утренней порой, ни вечерней зарей

¹ Старины — былины.

не могла я ни жить, ни быть, ни есть, ни пить, ни сидеть, ни лежать, ни ночи спать, все думала свою несладкую материнскую думу:

— Двух сынов моих роженных, две ягоды наливчатых загубил Гитлер окаянный.

И встают они у меня в глазах с малой поры и до полного возраста.

И опять перед глазами — извещение о молодецкой их смерти...

Тундру-матушку я приобъехала, лесу темного принавиделась, снег глубокий приизмерила, рек широких приизведала, а все выкладывала свой рассказ про войну народную и про сынов моих погибших. Еще раз узнала я и слезливое изголовье, и кручинное одеяло, и горемычные мои причитанья. В жар меня кидало и в хворость метало, а от работы своей не отстаюсь: хотелось мне такую книгу людям дать, чтобы мне она стала оружием верным, Гитлеру погубелью, сынам моим погибшим — памятником вечным.

Иной час я как из решета речью сыплю, а иной час и щепоткой даю. Глядишь, а моя дума уже стоит, в соболью шубу да в кунью шапку одета, хоть сейчас к людям итти готова — и в пир, и в мир, и в кроволитный бой...

Сказываю я про то, как мы перед войной жили-красовались. С той поры, как отказались мы от господ да бояр, не долго, а коротко мы жили, зато не близко, а далеко откатились от прежних неминучих бед. И вдруг увидели люди, что у каждого талан-счастье на сердце положено, в любом сердце живет и ростки дает. Счастье наше всенародное не белым снежком с неба выпало, не красной рыбой с моря выплыло: добыто оно Лениным да Сталиным, славной, верной партией большевистскою, всенародными денно-нощными трудами.

Зажили мы в советскую пору, будто на светлой заре-зарянице медовая роса на нас выпала. Раскудрявилась заря, разметала свои русы кудри по полнебу, и не только землю да избы — души наши осветила новым веселым светом: живи, работай да радуйся. Но не долго людям солнышко светило, ненадолго красное нас опригрело: снова накатилась

туча черная, навалилась заметелица, закружились коршуны над нашими головами. Вот и рассказывала я: как налетели на нас злые коршуны с закатной стороны, как они землю-матушку нашу стали рвать да клевать, города советские бить да громить, вольный трудовой народ в полон полонить. Когда-то у меня в одном сказе такое сказалось:

Кто изведал волюшку,
Волю вольную,
Не пойдет в неволюшку
Подневольную.

И как раньше про чужеземных врагов я говорила, так и теперь могла сказать.

Не с честью да с радостью встретили мы гостей непрошенных, не с низкими поклонами ниже пояса. Словами ласковыми мы их не привечали, яствами сладкими не угощали, питьями пьяными не поили. Встречала их наша Красная Армия свинцовыми гостинцами, стальными закусками пудовыми, пулями-орешками на закусочку.

Наша Красна Армия
Всенародная
Была воспеленена
Самим Лениным,
Вспоена-воскормлена
Самим Сталиным,
Укреплена докрепка
Нашей партией!

И не могла я не говорить про нашего всенародного вождя Сталина, про нашу надежду верную, заступу сильную, закрепу крепкую. Сколько раз чуяли супостаты великую силу

Сталина и сколько раз еще почуют! От его от силушки могучей земля дыблется. От его мудрости планы лиходейные, как от вихоря, рушатся, а у Красной Армии выполняются.

И видела я по делам Красной Армии, что верное слово сказала я про Сталина в своем давнишнем сказе. И верила, что минет война, а после победы снова буду я говорить про него сердечное свое величальное слово:

Под руководством
Мудра Сталина
Наша Красная Армия
Всенародная
Размела-развеяла
Всех насильников,
Прогнала-повыгнала
Из родной земли
За горы высокие
Поднебесные,
За реки глубокие
Пограничные,
За моря далекие
Чужестранные.
И опять мы зажили
Не вздыхаючи,
Нашу Красну Армию
Укрепляючи,
Дорогого Сталина
Величаючи.

И вера свернула горы...

Очень интересовался нашей работой Саша. Он подсаживался где-нибудь поближе и со вниманием слушал, что спрашивал Леонтьев и что я отвечала. Войну он своими руками воевал, а вот как в это нелегкое время мы в тылу жили — знать хотел.

Нет-нет да и разговоримся мы с Сашей. Как-то раз он спрашивает меня:

— А из ваших краев герои есть?

— Как, — говорю, — им не быть? Гастелло знаешь? Так в его самолете вместе с ним наш парень, из деревни Пеша, такой же геройской смертью погиб. Зовут его Алексей Александрович Калинин. Комсомолец он, и у Гастелло стрелком-радистом был. Да и как нашим людям героями не быть? Вон под Ленинградом вместе с моими сынами ненец Григорий Вылка воевал. Когда-то его отец, Евдоким Вылка, был продан в работники купцу Терентьеву — тридцать лет на него без платы батрачил. Так сын пошел на войну и говорит:

— Ничего не пожалею, только бы советская власть жила. Фашисты придут — не будет для нас солнца. Вернут купцов да кулаков, опять нищими будем. Надо убивать фашистов без жалости. Из наших земляков полторы сотни офицеров одних. Вон учитель Тебнев сейчас в подполковниках ходит, а колхозник-ненец Апицын старшим лейтенантом. А орденами да медалями у редкого грудь не изукрашена.

— А чем Красной Армии помогаете? — спрашивает Саша.

— Да всей душой, — говорю, — помогаем. В фонд обороны наш округ деньгами да облигациями пять миллионов рублей сдал. Кто рыбак — лучший свой улов туда же сдает, кто охотник — пушнину первосортную, а оленевод — мясо да шкуры оленьи. Индига да Пеша — консервы фронту дают, Амдерма — флюорит, Воркута — уголь...



После трех дней стоянки Петря забеспокоился не на шутку. В чуме и палатке он почти не сидит: то заберется на землемерский знак, выложенный из торфа на самой высокой сопке, и вглядывается во все стороны, то хватается сани и без нужды их с места на место переставляет, то ляжки переметывает, то на оленей поглядывает по получасу.

— Что, Петря, — спрашиваю, — забота шевелит и шевелиться велит?

А у него губы сжаты, зубы сцеплены, глаза с искрами.

— Неладно Иван делает. Пропадем от комара. Снег весь уйдет — оленей не удержать. Давно ехать надо.

Уже полтора суток ветра не было, днем о землю марево потягивало, а ночью тоже стояла тишь да заглуха. Комары столбами поднимались от земли и кустов и летели в два места: к нашей стоянке и к стаду. Ия Николаевна охала да стонала в палатке, а Саша или с головой забирался в свой спальный мешок или не отходил от костра в чуме пастухов.

— Жарко ведь тебе у огня-то али в меховом мешке? — говорю я ему.

— Да все-таки, — говорит, — попрохладней, чем на комарах.

Олени бьются, бегают то к чуму, то от чума и только немножко покоя находят на пластине лежалого снега сопкой. Редкие пластины снега все еще не растаяли. На снегу комаров поменьше, и ветер чуть-чуть схолаживает, оленям вроде и поспокойней.

Поговорили мы втроем — с Петрей да Леонтьевым — и согласились, что надо сейчас же ехать куда глаза глядят. А начальница со всем согласна.

— Давайте, — говорит, — куда угодно, только бы от комаров уехать...

Разобрали мы чум да палатку, погрузили да заложили все на свои места и запрягаем оленей. Иван не спорит, тоже собирается, а Михайло на него косится, как будто знает что-то и сказать не может. А у нас у всех одна дума:

«Куда-то поведет нас Петря? Заведет он нас в какое-нибудь беспутье...»

А Петря и виду не дает, что пути не знает: как будто ему в нос ветром нанесло дух от тех тундровых мест, куда нам попадать нужно. То ли он был в надежде сам на себя, то ли решил смелостью брать, а только вижу — ходит он не комком, а россыпью, садится на нарты по-хозяйски, хорей в руки берет неробко и вперед глядит твердо. Поехали.

Может, Петря и просчитался бы да промахнулся, не туда бы нас завез, да на его счастье — только успели мы отъехать — встретились нам воркутинские рыбаки. Везли они в Воркуту на двух лошадях рыбу с какого-то тундрового озера, где ловили с самого начала весны. Не думали мы и людей здесь видать, а тут — и лошади, и телеги, и люди. Едут они по тундре, как по торной дороге, и печали не знают. Два здоровенных мужика подходят к нам и говорят:

— Здравствуйте, люди добрые! На деньги ли, на мену ли, а дайте закурить. Подышаем, табачишко кончился.

Наши курители растряхнули свои кисеты да табакерки, шесть рук протянулись. После первой затяжки у них глаза посоловели, даже крикают от горькой услады.

— Как нам на Коротайку попасть? — спрашивает их Петря.

— Чего проще, — показывает рыбак, который постарше. — Езжайте вот в эту сторону, доедете верст через тридцать до тракторной дороги, а она вас сама приведет.

— И с чего вас сюда занесло? — удивляется другой. Досюда от Воркуты дальше, чем до Коротайки...

Петря Ивана одним своим взглядом чуть не убил: Иван еще у Воркуты в эту сторону ехать присоветовал.

— Ой, беда! — сокрушался Иван и хлопал руками по кривым своим ногам. — Совсем мой ум кружал...

Отблагодарили мы рыбаков пачкой легкого табаку, а они отдали нам свежей рыбой, и разъехались всяк в свою сторону.

Верным путем ехать веселее: начальница запосмеивалась, я запопевала песенки, с Леонтьева печаль свалилась, забегал Саша по кустам за куропатками. Сколько-то пострелял — приносит двух куропаток, кладет мне на нарты.

— Разбойник ты, Сашка, — говорю я ему, — и самца и матку убил.

— Да под ружье попадет — разве спрашивают?

— Дурак ты, — говорю, — детишек-то зачем обездолил, пропадут ведь без матери. У нас в тундре — закон: матку на яйцах и от малых детей не бьют. И не только куроптиху — каждую птицу в эту пору различают: казак али matka...

Петря на радостях первый раз за эту дорогу язычок свой развязал. Подъехал он к моим нартам, едет рядом и говорит:

— Давно это дело было. От старинных людей я слышал.

«В кожвинских лесах пошел один мужик лесовать, белку бить. Идет и видит: из-под дерева волк выбежал. А на лесине белка прыгала и упала. Волк пасть открыл и поймал белку.

Вот белка просит:

— Пусти меня, волк.

А волк говорит:

— Пущу. Только скажи: почему вам, белкам, всегда весело, а мне тоскливо?

Вот выпустил волк белку, а она с дерева и говорит:

— Ты, волк, всем вред делаешь, — тебе и тоскливо. А мы зла никому не делаем и вреда никому не делаем, и нам всегда весело».

Подъехал Петря со мной молчком, а потом прибавил:

— Вот и мы, люди, так: кто вред делает, тому невесело.

И посмотрел на Ивана пристальным взглядом...

Я спрашиваю:

— К чему ты это, Петря, говоришь?

А он вместо ответа понюжнул оленей и в сторону от меня отъехал.

Поглядела и я на Ивана: взглядом темен, ликом свиреп, и видно, что ему тоскливо.

Говорят, что у любого в глазах, как в зеркале, душу видно. Это верно: когда простой да прямой у человека взгляд, ни лукавства, ни притворства в нем нет, тому человеку можно верить. Вон, к примеру, Петря: глядит прямо и открыто. Палкой на него замахнись, так он взгляда не сменит. Однако не у каждого человека из глаз все выглядишь. Иной и глядит ласково, и говорит жалостно, а где-то у него что-то спрятано, душа у него с какими-то крючками. Вот так же рыбу на крючки ловят: с первого взгляда червяк червяком, а раскусит рыбка — там крючок спрятан. Таким лукавым людям глаз коли, они другой вставят.

Так и по всему виду ошибиться в человеке можно. Иной человек некрасив, говорит нескладно, весь какой-то неиздачливый, а в нем широкая правда кроется. А другой — наоборот. И чайка на воде — красавица, а в руки возьмешь — ничем она не лучше вороны.

Вот я и боялась про Ивана до поры до времени напрасное слово сказать. Человека, который справедлив, лучше всего по делам видно. Хорошие дела красуются в нем, как проба на золотом кольце: каждый без ошибки прочтает. И не изгладится та проба даже после смерти человека. Он под холмом на кладбище лежит, а люди внукам про его дела сказки сказывают и песни поют...

Тащить груженные нарты по талой земле оленям через силу было: не легче, чем по песку на лыжах итти. Сами нарты не один пуд весят, да воз наложен шесть-

семь пудов. Такой груз волоком волочить только битый конь под хорошим дубцом согласится. Грузовые нарты всегда двое оленей волокут, а у нас олени слабые, пришлось по трое в нарты поставить.

Вся тройка веревками за шеи к легковым нартам привязана. В легковые мы запрягли по пять да по шесть оленей, чтобы посильнее грузовых поторапливали.

Вот бедные грузовые и тащатся сзади со своим немалым возом. По лопаткам они резиновыми лямками опоясаны, а от лямок по подбрюху ремни ко грузовым нартам идут. К этим нартам еще грузовая упряжка на буксир взята, к тем еще одна, — так друг дружку за шею и тянут.

На голых местах турнешь¹ своих легковых, а грузовых с места на полный ход веревками за шеи рванет. Сдернешь их с места, а там они волей-неволей уж сами тянутся. Вот и хлюпаемся по болотам да выбиваемся на торбы в подъем.

Без мала сутки мы проехали, а из комариного царства не выбились. Когда с высокого бугора увидали мы внизу черную ленту вдоль тундры, все закричали:

— Тракторная дорога!

Да тут и остановились. Широкая окать бугора поросла кустистой да листистой шубницей. Кора у нее как у ивы, а лист как у ольхи, только толще и с нижней стороны беловатый; на верхушках веток — какие-то шишки, а в них набился пушок вроде белой ваты, мягкий, как мех лисьей шубы. Потому ее и шубницей зовут.

Растет шубница кустисто, по многу отростков от каждого корня. Раскинется она о самую землю, выкрувится во все стороны, переплетется одна с другой, друг дружке навстречу, и вдоль, и поперек, и наискось — по-всякому вывертится да вывьется, — не скоро сквозь ее проберешься. В прямых кустах олени идут, кусты сгибают али

¹ Турнешь — погонишь.

раздвигают, а шубница дорогу загораживает — сквозь ее понизу только куро́птям да горноста́ям привольно бегать. Зато из шубницы самые жаркие дрова выходят. Нижние деревни на Печоре, как только страду в лугах закончат, идут по голоснежице за этими дровами: других ни в Нарыге, ни в Андеге, ни в приморских поселках поблизку не растет.

Вот и мы развели костры из жарких дровец: и в чуме, и у палатки, и в самой палатке — от комаров. А пастухи все втроем с оленями бьются.

Вконец одолели оленей комары. Перед самым нашим приездом попали мы под дождик. А на мокрых оленей насядут комары, как смолой засмолят. В редкой весенней шерсти набьется комаров в два лежачих перста. Один на другом, один на другом, — в три да в четыре ряда набьются и сидят там в тепле да в добре: ни ветер их не бьет, ни дождь не секет.

Пастухи сутки в дороге были, и сейчас им тоже не до сна. Кусты они секут, боровину да тундровину рвут, наложат на костер, чтобы дым потолще был. Напустят дыму, как туману, и держат стадо как под закрытием.

К утру видит Петря, что никакой пользы от нашей стоянки нету, ни себе отдыха, ни оленям покоя да сытости, и решил ехать дальше. Тракторная дорога совсем рядом лежала, а чтобы пробраться к ней — немало все мы трудов приняли. В густых кустах шубницы пришлось нам вырубать да прокладывать воргу, иначе и сани бы все поломали, и оленей покалечили. Долго ли, коротко ли, — выбрались на воргу. И вот опять наши несчастные олешки везут нас с грузом, а комаров отгоняют одни только наши хорей. Да и на новой стоянке не легче.

Метались олени от студеной озерной воды к узким пластовинкам снега в разлогах, оттуда к росным кустам еры в межозерьях, оттуда — к сопочным вершинам, где мог подуть ветерок с моря.

Кто чем мог, тем и помогал. Пастухи берегли стадо, чтобы не разбежалось, я с Татьяной да с начальницей костры поддерживала. Леонтьев вместе с Черным бегал за оленями, когда они от стада откалывались. А Саша-то сам все дергался, то оленей оглаживал да опахивал, будто он так все стадо мог от комаров уберечь.

Час ли, два ли побились, Иван говорит:

— Загоним оленей в озерко.

На том и согласились. Олени в воду с охотой забрели. Забрели по шею в воду и стоят там, пофыркивают. Успокоились, видно, что им легче стало.

Мы Ивана благодарить готовы. А он нам говорит:

— Идите спать... Лишний человек оленей пугает...

Спать-то мы легли, но весь остаток ночи слышали, как пастухи и собаки воевали с оленями.

8

Разбудил нас утром Петря:

— Давай вставай! Неладица у нас.

Переполошились мы, вскочили.

— Что, Петря?

А на Петре лица нет, глаза ввалились, щеки серее земли, губы пляшут.

— Олени сбежали...

— Все? — спрашиваем мы в один голос.

— Да десятка три, — говорит, — задержали.

— А где они?

— Да вон, к саням да к кустам привязал.

Оделись мы, вышли из палатки и глянули на свое погромленное становье.

Видим мы: в кустах и у разбросанных кругом саней стоят и лежат привязанные олени. И такие они замученные, будто их всю ночь кто-то бил, а потом по грязи волочил. Пересчитали мы их: тридцать два оленя вместо прежних полутораста.

Про Ивана с Михайлой мы не спрашивали, знали, что они догонять оленей поехали: каждую ночь дежурили две легковых упряжки, а на санях даже продукты на всякий случай были положены на двое-трое суток.

Попросили мы Петрю рассказать, как бежали олени.

А он Ивана клянет:

— Выдумал тоже — оленей купать... А они кормиться-то хотят, водой сыты не будут. А как из озера вышли, комар-то на мокрых-то и насыпал: шерсти не видно. А тут еще беда: с моря ветер на каку-то минуту нанесло. Почуяли олени холодок и взяли волю: головы заломили, носы на ветер — да и прощай. С собаками едва мы этих-то откололи да выимали.

— Что же с этими делать? — спрашивает Леонтьев. — Отпустить — туда же убежат. На вязке держать — от комаров да от голоду сдохнут.

— Думать надо, — говорит Петря.

Думал он и час, и два — и надумал. Видел он где-то стреноженных коней, так же оленей стреножил, и пустил пастись. Олени хоть далеко и не уходят, а не столько едят, сколько рогами в веревках путаются.

К этому времени у всех оленей уже подросли новые рога. Когда рога еще небольшие, они, как бархатом, обтянуты молодой пушистой кожицей. Рога эти — живые: мертвые не растут. Ткни в такой рог булавкой — кровь торочком¹ на сажень брызнет. Друг с другом ли олени дерутся да с рогов кожицу сорвут, о кусты ли ее обдерут — кровь ручьями бежит, с головы до копыт обольются.

¹ Торочком — фонтаном.

И вот сейчас, как попадут они рогом в вязку — рог из нее круто выматывать боятся, — больно им.

На этот раз Петря долго не думал: вынул свой вострый нож из ножен, обитых медью, и начал резать рога тем оленям, которым они мешали. Подойдет к оленю, захватит рукой за рога да как резнет ножом по тому развилку, что в веревке завяз, — олень и опять на воле.

День прошел, а мы обед не варили, ночь прошла, а мы постелей не стелили. И все еще в думах надежду кладем:

«А вдруг да Иван с Михайлой вернут оленей?»

Утром в палатку Петря снова голову просунул.

— Олень пропал, — говорит.

— Убежал?

— Комар задавил.

Всей палаткой пошли мы за Петрей. У ближней сопки в кустах бродили и лежали стреноженные олени. Один из лежащих голову закинул, рогами спину задевает и не шевельнется. Петря подвел нас к нему, и видим мы, что это и есть погибший олень: глаза остеклели, ноги растянуты.

— Может быть, это — сибирская язва? — спрашивает Ия Николаевна.

Петря, не говоря ни слова, вынул нож, отсек оленю рог и подает нам. И видим мы, что в оленьем рогу — ни кровинки нет, один белый-белый хрящ: всю кровь в олене выпили комары. Надохлого оленя только редкие комары садились, так же как и на грязь садятся. Но ни один комар не лез в шерсть и кровь пить не собирался: чуяли комары, что тут больше нечем поживиться.

Поблизку лежали еще с десяток оленей, и нам страшно становилось, не знали мы — что думать: не то эти олени отдыхают, не то подыхают.

Всякому ожиданию конец приходит. Дождались и мы Михайлу. Воротился он на четвертый день, пришел пешком, грязный, измотанный, голодный. Попил да поел с дороги и поделился с нами нерадостными своими вестями.

— Оленей, — говорит, — не могли догнать. Сперва они в виду бежали. До Нямды¹ доехали, подсаночные² вовсе пропали, ног волочить не могут. Бросили их, пешком с Иваном пошли. День шли — видно, где бежали: где в болотах след, где мох вырван, где куст оборван. А потом вовсе из глаз утеряли. Вот, едва дошел...

— А Иван?..

— Иван дальше пошел. Говорит: «Три дня ждите: найду — приеду. Через три дня не дождетесь — вовсе не приду. Роч³ чего могут, то пусть и делают, а меня не ждут».

Пришлось нам еще три дня лежать да ждать. Хочешь — песни пой, хочешь — сказки сказывай, хочешь — плачи складывай, дал бы бог бокам здоровья.

А разговоры все три дня не утихали. Леонтьев злится.

— В путь-дорогу собрались неблизкую, — говорит, — а вот все еще на перепутье топчемся.

А как начали со своего перепутья ходы да выходы искать, опять по разным дорогам думы разбежались.

Пошли тут споры да разговоры. Петря говорит:

— В Воркуту ворочаться надо. Олени малы, да и те падут. А без оленей горностаем по тундре никуда не ускочишь. На лодке всеми людьми да всем грузом — вниз по порогам да вверх по рекам против быстри — не уплыть. Осень в тундре захватит —

¹ Нямда — приток Коратайки.

² Подсаночные — олени, находящиеся в легковых упряжках.

³ Роч — русский, русские.

погибнуть можно. Надо сколько ли на малых оленях к Воркуте податься, а там пешком дойдем. И никто нас не осудит.

А Леонтьев свои планы раскидывает, говорит:

— Вернемся — сами себя должны мы осудить. С какими мы глазами к Александрову явимся? Что ему скажем?

— Ну, а что вы предлагаете? — начальница Леонтьева спрашивает.

— Вперед итти. До рек здесь недалеко... До той поры, пока сдохнут олени, доедем мы до какой-нибудь реки.

— До Сядей-Ю... Вовсе близко, — говорит Михайло.

— Ну, а вода нас до Сарамбая донесет, — говорит Леонтьев. — Лодку по порогам я водить умею. Не влезет груз в лодку — плот сплотим.

Начальница усмехается:

— Из чего это вы плот делать хотите?

— Из нарт, — говорит Леонтьев. — Александров нас отправлял — что говорил?! «Что хотите и как хотите делайте, а задание должно быть выполнено». Значит, нам обратная дорога закрыта...

— На замок закрыта, — соглашаюсь я.

— Я на фронте, — говорит Саша, — тоже не любил обратно ходить.

— Сядей-Ю вовсе близко, — твердит Михайло.

Начальница говорит:

— Раз назад нельзя, так я и вперед согласна... Только вы, мужчины, понимаете, за что беретесь?

И развертывает карту.

— Вот, — говорит, — мы только сто километров искружили, а впереди, смотрите: река Сядей-Ю — добрых сто километров наберется, да Тар-Ю на нашем пути —

пятнадцать-двадцать, да Коротайка до Сарамбая — почти двести, да Сарамбай — больше ста, да Талата — больше ста. Всего больше полтыщи километров. Теперь столько же на боковые пути, на ручьи да речки, прибавьте. Вот и тысяча.

— Осилим, — говорит Леонтьев, — кроме Сарамбая, нам везде вниз по воде плыть. В стороны по ручьям, наверно, не очень далеко заходить будем, — пешком можно. Надо осилить.

А начальница еще пугает:

— Всего, — говорит, — страшнее нам последние двести километров по Сарамбаю и по Талате. Сарамбай, может быть, совсем сухой. Ты не бывал на нем? — спрашивает она Михайлу.

Тот головой крутит.

— А если сухой Сарамбай, — говорит Ия Николаевна, — придется нам лодку бросать и всем пешком итти. И мало того — продукты, палатку, все снаряжение нести. Я за себя — плохой носильщик, Романовна — тоже, всем вам, товарищи, носить придется, да еще не по одному разу взад-вперед ходить, — говорит она Леонтьеву и Саше.

Подумали те, друг на друга поглядели и говорят:

— Выдюжим.

Леонтьев успокаивает:

— Нам только Сарамбай пройти, а там все барахло оставим и только с одной меховщиной¹ на Талату выскочим. В Талату пройдем, с Синькина носа за всем барахлом на оленях по первому ледку съездим...

На том и порешили. А Ивана все еще ждем. На третий день утром пастухи нашли еще двух мертвых оленей.

¹ Меховщина — теплая меховая одежда.

— Тоже комар задавил? — спрашиваем.

— Комар...

Кабы не комар, мы еще бы день-другой Ивана ждали. А тут, видим, оленидохнут, другие — как полумертвые мухи бродят, и решили больше не ждать. На нашу беду, в стадо наше крохотное еще и копытка пришла. Которому оленю ногу ремнем натерло, который в кустах ногу досадил, у тех и копытку заметили. А мы уж знаем, что заведется эта болезнь в стаде — всех оленей переберет, редкого обойдет.

Вот мы и заторопились. Леонтьев рассчитывает:

— Лодка подымет тридцать пудов. Больше этого ничего и не возьмем. На этих сустуев¹ больше пяти пудов не положишь. Значит, нам нужно взять шесть грузовых нарт. На шесть нарт — двенадцать оленей. Да в легковые: Петре — пять, Михайлу — пять, тебе, Романовна, — четыре хватит. Выходит, всего двадцать шесть оленей поедет. А у нас их — двадцать девять. Трех — на пристяжку к слабым.

— Один вовсе больной — худа пособка, — говорит Михайло.

— Оставим здесь отдыхать: Татьяна посмотрит.

Решено было Татьяну с чумом не трогать с места.

Михайлу мы брали провожать нас до Сядей-Ю. Он должен был оттуда сразу же пешком воротиться, а Петря — оставаться у Сядей-Ю оленей пасти, пока Иван не приведет обратно беглых оленей.

И вот снова едем мы по тундре без пути-дороги кривляками да косяками. Ведет наш аргиш на этот раз Михайло. Откуда-то у парня взялся и ум, и толк: видим мы, что не худо он знает эти места, будто он тут и родился. Обменяли парня да и только.

«Не иначе, — думаю, — раньше он Ивана боялся...»

¹ Сустуй — истощенный олень.

Долго ли, коротко ли цапкались мы да карабкались — к какому-то разлогу приползли. Где-то, под высоким стоячим кряжем, издалека пошумливала не то речка, не то ручей.

Михайло начал выпрягать оленей. Пока грелись чайники, мы обошли стоячий кряж и спустились к берегу. Не развеселила нас долгожданная речка: хоть в картах она и рекой называлась, а понапрасно так ее опочетили: добрый ручей больше этой реки. Тут же мы перешли по камушкам на другой берег, набрали там мелких сухих дровишек (мы их мелкотьем зовем) и вернулись к палатке, повесив головы. Думали мы, что по Сядей-Ю корабль пройдет, а тут и лодкой не проехать. Пешком иди — ноги не замочишь.

— Придется вниз по берегу ехать, — говорит Ия Николаевна, — через день-два, может, и лодку на воду спустим.

— Не надо вниз, — говорит Михайло, — тут большой заворот у реки. Прямо—десять верст, берегом — тридцать.

В дороге не начальница за главного, а ясовей¹. Посидели курители, — кто курит, кто нюхает, — потолковали. А я хожу по тундре да брожу. Ягод, вижу, много будет: как насыпано их по зеленым мхам, но ни одна еще не созрела. У брусники ягодка еще только-только в цветочке зародилась, у вороницы — с мелкую дробинку, у голубицы — с горошину. Одна морошка на прямых своих сторожках из пакулей красную головку показала.

«Скоро, — думаю, — морошечное время подойдет. Пойду я тогда по ягоды. Морошку брать — праздничная работа. На морошечники куропти налетят, линные² гуси набегут, ворона и та прилетит».

¹ Ясовей — провожатый.

² Линные — во время линьки.

Ворона ни от чего не откажется, всякую пропасть жрет, а жирной да мясной никогда не бывает: всегда только костье в перьях носит.

Когда переезжали мы Сядей-Ю, никто ноги не подмочил. Я смеюсь:

— Вот и я первый свой сухой переезд переехала. Не купалась и не тонула, а река сзади осталась.

Взялся Михайло за дело и ехал смело. Без лишней разглядки да рассмотря он прямой путь вел. А олени все больше сдавали. С великим трудом поднялись они на большой пятиверстный горб.

Отсюда нам видно было весь пятиверстный спуск с этого горба в разлог, где снова подбегала Сядей-Ю. Ну, а уж раз на гору поднялись, так и в подгорье спустились. Долго еще олени холмышки ногами перебирали да ноги заплетали, а все же доехали.

Первым делом побежали мы к реке. Глянули и сразу повеселели: Сядей-Ю текла в нешироком, зато глубоком плесе, — тут и не наша лодка пройдет.

10

Солнце в нашу летнюю пору как по широкой морской волне колыблется. Скатывается оно с высокого волнового гребня, вот-вот, думаешь, за тундру нырнет. А оно еще по-над землей остоится на минуту между двумя волнами, словно раздумается, и, не мешкая, в подъем на вторую волну всплывет. И снова светлота солнечная по земле льется, на росных кустах да травах жемчугом рассыпается, а по речным заводям серебряные дорожки стелет.

Днем мы спустили лодку на воду и поехали вчетвером Сядей-Ю смотреть.

По песчаному берегу скакали серые длинноногие зуйки-побережники. Они вытягивали к нам востроносые головки на длинных шеях, ослушивались и осматривались: что за народ наехал в здешнее царство? Видно, не часто заплывают



лодки в эти места. Рядом с зуйками прыгали и подлетывали вертлявые, белогрудые с черными шеями криуки¹ и кричали:

— Крив, крив, крив!

Над ними кружились ласточки-кряжевницы. Летают они неровно, как с прискоком в воздухе, чивкают с просвистом. Показываю я на берег и говорю:

— Смотрите: не то что деревней — настоящим городом кряжевницы живут.

Весь обрыв берега был изверчен да истыкан гнездами кряжевниц. Идут эти гнезда в глубь берега, как длинные печурочки².

— Гляньте, — говорю, — у кряжевниц свое метро устроено да уделано.

Вышли мы на берег, забрались на обрыв. Весь песчаный берег был усыпан прошлогодним листьем и мелким хворостом. Сели мы на укатинке, комаров от нас ветер отогнал. Сидим мы как на именинах, радуемся редкому бескомарному часу.

Вижу я, недалеко от нас — норка в земле, с коровий глаз, не больше. Прислушиваюсь — в земле что-то чиркает, будто кто-то там кремень о кремень бьет, огонь добывает.

— Не иначе — горноста́й, — говорю я шепотом.

Еще посидели мы сколько-то, не пошевелились и слова не проронили. И все на норку смотрим. И вот видим — показался оттуда зверек. Вылез он из норки по полу-себя, оглядывается. Успели мы только разглядеть, что зверек белый, с рыжими пластинами вдоль хребта, с красным хомутиком на шее и с красным лбом. Показался и опять в норку нырнул.

— Горноста́й? — спрашивает Саша.

— Нет, — говорю, — горноста́й летом весь желтоватый, зимой — белый, только кончик хвостика — черный. А этот — видел какой. Зимой он тоже под горноста́я

¹ Криуки — сухопутная тундровая птичка.

² Печурки — углубления в боках печки для сушки одежды.

рядится, только до зимнего горностаю дотянуть не может. На спине у него желтые пластины, да и хвоста никакого нет. Длинный этот зверек и тонкий.

— А чем он живет?

— Да как и горностаю, — чем придется. Здесь он у кряжевниц в гнездах промышляет. Весной и в уточьем гнезде пакостит, и гусиным яйцом не подавится. А у нас в Голубково как наладится в чей-нибудь погреб ходить — хоть из погреба выбирайся: сметану съест, масло ополовинит, рыбу загрызет, печенье какое ли — утащит. Пойдет по воровской дороге, кроме капкана, ничем не отучишь. Зимой опять силье¹ у куропатчиков проведывает. Каждый день раньше хозяина силье обойдет. Где куропоть есть — выгрызет всего, одни кости да перья оставит. Этот зверек — горностаю брат родной.

— Да как его зовут-то? — любопытствует Саша.

— У нас его ласточка зовут.

— Наверно это — ласка, ласочка, — говорит Леонтьев.

— Не в названье, — говорю, — дело, а в породе. Вон фашиста, хоть человеком назови, а звериной своей породы он не скроет.

Посидели, поговорили, поехали домой, ко своему брезентовому терему...

— Олени вовсе опристали, — жалуется Михайло.

— Я на оленях больше не поеду, — говорит начальница. — Берегом пойду. Мне теперь уже поглядывать надо: нет ли где коренных пород?

Про коренные породы Ия Николаевна давно толковала: где они выходят из-под тундры — там и нефть искать надо. И говорила, что скорее всего их в речных берегах можно приметить.

Так и сделали: Сашу с Леонтьевым в лодке отправили, начальница берегом пошла, а я с аргишем поехала.

¹ Силье — силки.

Опять у меня началась мука мученическая. Олени вовсе стали какие-то слабые да вялые. Идут, идут и лягут. Поднимаешь передового, а он смотрит на тебя и как будто глазами говорит:

«Вот до чего вы меня довели».

Бить начнешь и в тех же глазах ответ читаешь:

«Убей — не стронусь».

Вот бьешь их и плачешь. И горе берет, и слезы долят, — все вместе скопится — и злость, и жалость. Подбежат пастухи, — помогут на ноги поставить, глядишь, и опять пошли. Тут уж не подумаешь садиться, — идешь возле саней и хореем натряхиваешь.

На наших глазах прямо в упряжке сдохли два оленя один за другим. Ни шкур снимать пастухи не стали, не хоронили, а оттащили за ногу в сторону и оставили волкам на съеденье. А тем, кто жив, — опять тягость сверх силы.

На наше счастье, через сутки езды вдоль Сядей-Ю, увидели мы на речном берегу два чума. Подъехали мы, спрашиваем какого-то старика (он собак отгонял):

— Кто здесь живет?

— Ненцы на едоме¹.

И хоть никто его не спрашивал, сам себя называет:

— Зовут меня Митрий, прозывают — Большой Нос.

11

Митрий Большой Нос — громогласный человек: скажет слово — птица с места подымет, люди ото сна разбудятся. Вот и сейчас — настоящего утра еще не дождался, а орет у палатки:

¹ Едом — стоянка безоленных ненцев.

— Гости приезжие! Рыбу надо, дак берите.

Выглянула я из палатки и только сейчас толком разглядела Митрия. Маленьким его не назовешь; с крепкими, жилистыми руками, на редкость большим носом, широким лбом, густобровый, веселый, разговористый.

Он седой, сутулый, морщинистый, как и все старики. А присмотрелась — вижу: весь он какой-то особенный. Волос у него и сед, да густ, как у молодого. Сутулость его — и та не от древности да слабости, а будто сильный, в полной поре, мужик тяжкую ношу несет. А на лице — в каждой морщинке смешинки.

Показывает мне Митрий рыбу у палатки: добрую пудовую щуку, трех щук поменьше, две больших пеляди и три чира.

— Свежие? — спрашиваю.

— Сейчас из воды, трепущие... надо, дак берите.

А я вижу, что наша лодка подъехала к берегу, и говорю:

— Погоди, сейчас ребята подойдут.

Зашли на угор наши молодцы: ото сна запухли, комарами в кровь разъедены. Как увидел Саша рыбу, руками всплеснул:

— Батюшки!.. Вот чудище-то... Бревно...

— Бери, Романовна, — говорит Леонтьев. — Старик, почем рыба-то?

— Да два-то рубля за кило не дорого будет? — спрашивает он.

Набрали мы рыбы. Старик разговорился.

— В Русаках я, вверху Печоры, внуковья, вырос. И сев заседал, и пожни чистил. Пожни с кочками, с лесом, с ключьями. Лес высеку своими руками, ключье вырежу, коренье выдеру. Да с лугов-то на третий год на шесть вытей на шесть коров снимали. А выть на одну корову, коли не знаешь, — десять возов, а воз — пять куч, а куча — пять пудов. Вот и считай: сколько хозяину барышу. Хозяин был крут-

человек, работать неволил. Поля у него сырые, — корень растет. А я корень назьмом¹ дотла вывел, землю глубоко пахал, в дождь не пахал, не боронил. Да урожай сам-десять хозяин снял. Разжился он, — слыхивал я потом, — первый на Печоре годов тридцать назад косилку купил. А потом раскулачили его соседи. И не жалко. Больно лют да крут, да жаден был.

Расплатился Леонтьев, и Митрий пошел в свой чум, — на ногу легкий, поворотливый. — К нам со старухой заходите, внуковья, — говорит на прощанье.

В тот же день пошли мы все вместе в чум Большого Носа. Чум у него большой, просторный, чистый. А семья всего трое: он с женой да внучка.

— А где, — спрашиваем, — внучка-то?

— За морошкой ушла, — говорит жена Большого Носа, Степанида.

Степанида Митрию под пару: немалая собой, с виду — дородная, по речи — степенная, по обхождению — приветливая. Оба со стариком рады-радешеньки свежим людям, не знают, чем угощать, чем потчевать. Степанида только что хлебы испекла, угощает нас рыбой всех сортов да чаем с мягким хлебом и все время одно слово твердит:

— Не обессудьте...

Оглядела я чум, вижу в клетках прыгают криуки и кричат:

— Крив-крив-крив...

— Чего ты, Митрий, их запер? — спрашиваю.

А тот подходит ко клеткам и открывает их. Выскочили птички, попрыгали по чуму, крошек поклевали — да и на улицу.

— Чего ты их выпустил? — спрашиваю.

— Придут, они свой дом знают. В чуме-то и без клетки живут, да вот от этого злодея берегу. И показывает на большущего лохматого кота.

¹ Назем — навоз.

— Сибирской, — говорит, — породы, злодей. До птицы лют, уток лавливал, гуся давливал, у кречета из гнезда яйца воровал, никакой собаки в чум не запустит.

Кот был в самом деле страшный: встретишь такого в тундре — стороной обойдешь. Митрий говорил, что кот месяцами пропадает в тундре: за мышами и за птичками охотится...

Митрий и курил, и нюхал, и табак за щеку клал. Степанида только нюхала табак. Вот набьют они свои немаленькие носы, Митрий и заведет речь:

— Сын-то Иван в колхозе робит. Удалы мужики колхозники нынче единогласно живут. Сына лонись¹ денежным почетом опочетили, в Архангельск гостевать посылали. Внучка-то с той поры у меня и жить осталась.

Мезенный² сын Петрован на войну пошел. Вот я нонче один на все стороны: вот сетки тряси, да вот дрова секи, да вот за грибами, да вот за ягодами, да вот туда-сюда нету раба, дак и сам по дрова. Старуха здоровьишком-то вовсе расшаталась. Говорю: «Всем болям не уверишь, котору и мимо обойти можно». А она — сегодня то, завтра друго болит... Как стара хоромина скоро рассыплется, а там певунчики поют, ревуныки ревут, сухо дерево несут, занесут его в ухаб — не вынесут никак. Развяжет мне руки — на молодой женюсь. Дай-ка закурить, внучек: табак да баба — одна забава.

Угощает его Ия Николаевна папиросами и спрашивает:

— А сколько тебе лет, дедушка?

— Девяносто пять годов, внучка. Бросовый человек... Век дожил, — все для меня выдержалось. Мне бы лежать нонче да сыновьями, да внуковьями командовать.

— Рассказал бы, старик, как жил-то ты? — допытывается Леонтьев.

— Век долог, всячины полон, где тут рассказать. Девяносто пять годов живу, а матюка не гибал, вина не пивал и не то что под судом — во свидетелях не бывал. Отец говаривал:

¹ Лонись — прошлый год.

² Мезенный — младший.

«Чужо не бери, свое не оставляй — вот твой прямой закон». И еще говорил: «Мозгами пошире захватывай. Сам жить не умеешь — смотри, как добры люди живут. С одной стороны кол не теши: не только про себя думай. Кому можешь — добро твори. Соседу добра не сделаешь — себе добра не сделаешь». Слушал я отца и как по торной дороге шел...

Перед самой полночью зову я Сашу и Леонтьева прогуляться.

— Вы, — говорю, — теперь поменьше спите: скоро круглое солнышко кончится, и сейчас оно к земле припадает. Скоро опять придут две сестры: утренняя заря — Марья да вечерняя — Дарья. Морошка вызрела, — солнышко о полночь с землей целуется.

Пошли мы на лужок у самого берега Сядей-Ю, выше чума Большого Носа. Саша уже привык к таким прогулкам и просит:

— Начинай, Романовна, лекцию.

— Сегодня, — говорю, — расскажу я тебе про наши травы, которые есть можно. Вот ты ходишь, охотничаешь и, не приведи бог, заблудишься, без пути зайдешь, — ты же среди пира с голоду ноги протянешь. Ну, ладно, ягоды наши ты теперь знаешь: я тебе и рассказывала, и показывала. А знаешь ли ты, что дорожного человека тундра летом одними травами прокормить может?

— Летом и комар бывает сыт, — поддакивает мне Леонтьев.

— Вот, — говорю я Саше, — в тундре цинга человека берет. А если ты почаще будешь жевать вот эту травку, цинга тебя не тронет.

И показываю ему на траву дикого лука. Против домашнего лука он пониже и потоньше, а пользы в нем не меньше.

— А это вот, — показываю, — у нас зовут кислушки, а у вас в Москве щавель, его ты должен раньше знать. Он от цинги тоже первая подмога. — А это — борщовки: из них, как и из кислушек, можно борщ варить, да и так они вкусные.

А борщовки нам сами в руки просятся. Стоят они, высокие — нам до колен, толстые, как большой перст, прямые, как веретена. Лист у борщовки лапчатый, по краешкам зубчиками вырезан, шершавый, как иголочками покрыт. А наверху у него широкий белый цвет зонтиком раскинулся.

Срываю я пару борщовок и учу Сашу есть:

— Вот видишь, — говорю, — едят у борщовок не лист и не цвет, а стебель.

Облупила я со стебля кожицу полосками, даю Саше самое сердечко стебля.

А тот ест да хвалит.

— Что мяконько да сладенько, то каждому миленько, — смеюсь я.— Только не каждый до него добраться может. Вот и тебе мало показать, а еще, наверное, расчавкать да в рот положить надо.

Показала я ему пучки, — в иных местах их еще дуделицами зовут, — во всем на борщовки похожи, только стебель у них суставами скреплен, кожа красная, крепкая и горькая, а лист совсем гладкий. Очистил Саша одну пучку — и откусить не может.

— Как дерево, — говорит, — и горькая.

— Мягонько да сладенько, — говорю, — только в молодости бывает. А в эту пору из пучек ребята у нас дудки да свистульки делают. А еще по этим только старики у нас лето примечают: коли в суставе, в самой середине, есть дырка — лето будет дождливое.

Показала я Саше семена вязеля-травы, они на горох похожи и в таких же пирожках живут; показала на ближнем болоте траву-белоголовку с мохнатой шерстистой шапочкой на вершинке; показала молодые вички¹ на иве, их без кожицы тоже едят; все, что знала, показала.

— Теперь, — говорю Саше, — по нужде можешь ты и без ружья пропитаться.

На обратном пути мы набрели в кустах на выводок чирака. Хотела я одного в руки взять, да и самец и матка стали биться со мной. Маленькие они, как зуйки-

¹ Вички — побеги.

побережники, а шуму да крику подняли, как стая чаек на морском берегу. Носятся они надо мной вверх да вниз и кричат так, что их крик сквозь уши с просвистом идет:

— Чир-р-р, чир-р-р.

А я, как малая, дразню их по-деревенски:

— У чирака яйца украли, сорок детей разорили.

И когда только они меня с разлету дважды в темя стукнули так, что в голове запело, бросила я свою забаву и отступилась...

Испекла я мягких белых хлебцев, выбросила плесневелый, старый хлеб, просушила подмоченные сухари, отсырелую крупу.

Леонтьев с Сашей мастерили на берегу плот из нарт. Разобрали они нарты бережно, чтобы потом на Сарамбае сложить можно было. Из полозьев, копыльев, нащепов¹, досок от настилов, на которых сидят, связали они какой-то несуразный плот.

А когда его сколотили — он двоих еще кое-как и держит, а третий ступит — ко дну идет. Пришлось потом на берег тащить.

— На что же все мы погрузимся? — спрашиваем мы друг друга.

Лодка едва могла поднять груз с одним человеком, а людям некуда и садиться.

К той беде на кучу еще одна пришла: копытка перекинулась чуть не на половину нашего маленького стада. Ноги у оленей распухли, на опухолях ранки показались. Ранки ползли, расплывались по коже, гноем мясо до костей разъедало.

Олени чахли, сквозь кожу у них ребра торчали, шкура облезла. И помочь мы ничем не могли: никакого верного лекарства от копытки нет.

Петря ходил от оленя к оленю и тяжело вздыхал. Верили мы, что он придумает какое-нибудь спасение, верили и не верили. Приходит он как-то к Ие Николаевне:

¹ Нащепы — деревянные бруски, надевающиеся выдолбленными в них отверстиями на копылье, вдоль полоза.

— Смольная вода нужна.

И объяснил, что в своем колхозе он этим лекарством не раз копытчных оленей вылечивал. Смольную воду мы взяли, чтобы мочить в ней тобоки¹, тогда они в болотах не промокают. Отдала начальница Петре всю смольную воду.

— Только лечи, — говорит.

А лето красное катилось, как на колесах. Золотые деньки для работы проходили у нас в пути да в стоянках, далеко от Сарамбая. И присоветовал начальнице Леонтьев за любую цену купить у Большого Носа лодку и без оглядки ехать и ехать. А Петрю оставить с оленями.

12

Наградил нас Большой Нос такой лодкой, что песок — и тот в ней не держится. Годов этой лодке, пожалуй, не меньше, чем самому хозяину.

Вся издрябла, порубни² выгнили, опруги³ от бортов отвалились и от донницы⁴ отстали. Вся она безгожая, текучая: на воду пустишь — как в решето вода льется. Зато долгая она да узкая, как гроб.

— Сердитому от кормы до носа бежать — вся горячка пройдет, — говорю я Большому Носу.

— Раз взято, — говорит, — дело свято. На щучьем пузыре не поплывешь.

Конопатили ее Леонтьев с Сашей два дня, призатыкали большое дырье и начали грузиться. Груз в нее клали с выбором, все, что не мокнет: ящики с консервами,

¹ Тобоки — обувь из шкуры с оленьих ног, шерстью вверх.

² Порубни — верхние края досок, из которых сшита лодка.

³ Опруги — дугообразные крепления, идущие поперек лодки от днища ее к бортам.

⁴ Донница — днище лодки.

веревки, палатку, бидон с керосином, посуду, а сверху — меховую одежду и спальные мешки. Все остальное влезло в новую воркутинскую лодку.

Начальница наша собрала нас всех и по-хозяйски заговорила:

— Ивана, — говорит, — ждать с оленями больше нельзя. Время у нас в обрез, а работа еще не начиналась. Поэтому, — говорит, — мы оленей оставляем здесь с Петрей, а сами едем на лодках.

И наказывает Петре оленей стеречь да беречь, больных лечить, а как олени болеть перестанут да отдохнут — приезжать вместе с Михайлой на Сарамбай. А нам говорит:

— Путь нас ждет нелегкий. А уж раз мы на него решились, надо его одолеть. Любому из нас порой трудновато придется. Ну, да на то мы и большевики, чтобы трудности не бояться и дела не страшиться. На фронте потяжелей, а люди советские уже три года эту тяжесть на своих плечах несут. А коли понадобится, так и еще три года вынесут, а на своем поставят.

Провожать нас вышли всеми семьями из обоих чумов. Большой Нос свою старуху Степаниду на берег вытащил. Внучка его принесла нам морошки. Пришел и Федор Лаптандер — хозяин другого чума, тоже с женой и со своим парнем. Петря стоит невеселый, темный.

Распростились они с нами за руки.

— Комар-то вас заест, — говорит Большой Нос. — Девяносто пять годов на свете живу, а такого комара не видал.

— Вода, беда, сухая, — говорит Федор Лаптандер, — намаетесь.

Митриеву лодку повел Леонтьев, а воркутинскую Саша. Обе лодки сидели в воде грузно, вровень с бортами.

— Что же, — говорю, — нам с тобой, Ия Николаевна, видно, до самого моря бережничать придется.

И пошли мы с ней тем же правым берегом, на котором стояли. Помахали нам ненцы руками, платками, шапками да скоро и из глаз потерялись.



С первого шага не повезло моим ребятам: река пошла мелистая да каменистая. Пришлось Саше с Леонтьевым бурлачить, через мели да пески лодки волоком волочить. А оба они — с худыми, верезеными на фронте руками, у обоих кости ломаны.

Вот они с лодками маются, а мы их на берегу ждем. Видим мы, как берутся они с двух сторон за уключины лодки и тянут, до самой воды нагибаются. Одну лодку протянут, — за другой пойдут. Через одну мель лодки переволокут — другая на виду. Подплывут с куриный шаг и снова на мель ткнутся.

Вылезают оба и опять бурлачат. Волочат лодки то к одному берегу, то к другому, все ищут, как рыба, — где поглубже.

Пока они мыски да носки объезжают, мы с Ией Николаевной напрямую через мыс пересунемся и ждем своих бурлаков по часу. Другой раз сидим-сидим, над костерком от комара хоронимся, а надоест ждать — навстречу пойдём. Найдем их, видим, где-нибудь в прилуке, в кривом завороте они на мелях сапоги полощут. Подойдем к ним с берега — ноги не замочим — и тоже в лодки впрягаемся: видим, что бурлаков наших лешева работа скоро вымотает.

Раз-два помогли, чуем — и у нас хребты заныли. А время уж вечером запахло.

— Давай, ребята, остановимся здесь, — скомандовала начальница.

А Филат давно того рад. Второй раз просить не заставили, приткнулись к берегу ребята. Леонтьев говорит:

— Разгружать лодки надо, а то затонуть могут.

И верно, лодка Большого Носа и сейчас, пока разговаривали, чуть не до половины воды набрала. Всю дорогу Леонтьев по десяти раз за час ведром набрякивал, отливал. Консервам вода и не страшна, зато лодка водой глубже сидела, и тащить ее было неподсильно.

Разгрузили мы обе лодки, поставили палатку, готовим обед. Берег, на котором мы остановились, порос травой по колена. Хожу я вокруг, дровца в траве выискиваю

и вижу, что кто-то совсем недавно здесь прошел по траве: чьими-то шагами она примята. Раздвинула я негустые стебелинки и кричу своим:

— Смотрите-ко идите: медведь прошел.

Пришли, посмотрели — след свежий: большая голая, безволосая лапа, и каждый коготь на каждом пальце видно.

Наутро бурлаки подняться не могут, за спины хватаются.

— Что, — говорю, — молодчики, это вам не спирт пить: немято тело попало в дело.

— Втянемся, — говорит Леонтьев.

А глядя на него, и Саша поднимается.

Второй день выпал им еще и первого тяжельше. Река вся вывертелась прилуками да лайдами, лахтами да лахторинками. И мели везде — курица вброд перейдет.

А ребята наши не сдаются: в работе они оба зарывные...

Вот мы с начальницей опять бережничаем, а они с мелями воюют. Заманил их какой-то закурок¹, заехали они туда вдоль приглубого берега версты на две, а выход-то песком пересыпало. Вот и помаялись они на этой кошке²: до середины ее лодки протащили, а дальше — вперед не идет и назад силы нет. Думали-думали, Леонтьев говорит:

— Копать, Сашка, надо. Канаву под носом выкопаем — лодка легче пойдет.

Взяли ребята лопаты и копают песок. Выкопают с метр, который-нибудь и поет:

Мы не карбас тянем — лодку.

Даст начальница на водку.

Эй, дубинушка, ухнем,

Эй, зеленая, сама пойдет.

Иде-е-ет...

¹ Закурок — курья, рукав без выхода, с одним входом.

² Кошка — подводная горка.

Глядишь, лодка на метр подвинулась. Еще прокопают да еще покрикивают:

— Раз-два — взяли... Раз-два — сильно...

Из закурка выбрались на вольную воду, — тоже немногим слаще. Где поглубже, там веслом толкаются, лодка хоть с нуждой, а проходит. А мель подойдет — опять волокут. А за лопаты все чаще берутся.

Два дня проехали лодки по песку с лопатой вместо паруса.

— Километров сорок отъехали, — говорит Саша.

А мне с берега виднее.

— Иди-ко, — говорю, — Сашенька, сюда.

Вышел он, а я назад показываю.

— Тебе, — говорю, — эти чумы не знакомы?

Верстах в четырех от нас стояли чумы Большого Носа и Федора Лаптандера. По реке мы и дивно накривуляли, а прямо-то только на четыре версты отошли.

Саша чуть не взвыл.

— Я, — говорит, — боялся, как бы Сарамбай нам не проехать да в море не выплыть...

Каждый день приносил нам новые мели, и думали мы сколько раз, что не выбиться нам на глубокую, вольную воду. Редко-редко подхватывал лодки какой-нибудь порожек и выносил их на такие же пески, с каких подхватывал.

— Большому пароходу на мелководье — гроб, — говорил Леонтьев.

А Саша как берется за лопату, так и запекает:

— Мы сами копали могилу себе.

Нам с начальницей по берегам иногда кое-что и кроме морошки попадалось. В одном месте на песчаных извилистых берегах нашли мы каменный уголь. Он выходил прямо наверх небольшими пластиками и наверху рассыпался на комки, а кругом их по песку развеяна ветром черная угольная пыль. Покопались мы сколько-то в этих

местах, начальница все записала, образцы угля с разной глубины взяла, в мешочки уложила. И опять дальше поехали.

В другом месте наткнулись мы на старые избы. Стояли они на высоком берегу. Нашли мы там капканы ржавые, печки чугунные, фанеру и какие-то части от радио. Сделали мы тут привал. Леонтьев с Сашей в цель постреляли. Решили мы, что это какая-то экспедиция раньше нас была и житьем здесь жила. Захватили мы сколько-то капканов на гусей, фанеру и немножко пека от батарей — лодки заливать.

Много трудов бурлаки наши приняли, пока доехали мы до устья Нямды. Перед самым устьем она берет в себя другую речку — Хэй-Ягу, и от устья видно, как идут они обе и стыкаются перед Коротайкой в развилку.

И опять мы шли, рекой сухой ногой, лесом-парусом и опять воевали с мелями, пока наши работники оба свалились: у Леонтьева спина отказала, у Саши рука.

А Ия Николаевна не унывает, храбрится:

— Теперь, — говорит, — наша с тобой очередь, Романовна, реку копать.

— Много ли мы, — говорю, — с тобой накопаем? Такие мужики сдали, как уж нам на силу надеяться. Тут, — говорю, надо нам, как в сказке, Ум-разум кликать, не поможет ли он.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В РОЗЫСКАХ ЗАВЕТНОГО КЛАДА

1

Ум-разум что-то худовато нас слушал и лениво службу служил, не так, как в моей сказке про стрельца-молодца.

Сколько ни бились Леонтьев с Сашей, сколько ни мучились, а лодку на плечах не унесешь. Совсем измотались наши работяги, на самих себя не стали похожи. На стоянках в палатке теперь было тихо. Приуныли мы все — ни смеху, ни сказок, ни веселых разговоров.

Саша все чаще стал за руку хвататься. Леонтьева скрючило: как старьй старик он ходил, спины не разгибал. Начальница запечалилась: на команду хворь напала, тут и капитану не до веселья. И у меня язык к темю¹ прильнул: что ни делаю, а во все плечи вздыхаю.

«Худы олени, — думаю, — были, а все тащили. А вот своей силой не много утянули. Олени вымотались, мы им не верили, все хореем стращали да вожжой трясли. А теперь вот и сами узнали, какво оленям было: тягло померили, так и поверили».

¹ К темю — к темени.

И говорю:

— Худ муж помрет, так и добра жена по миру пойдет.

Спрашивает Леонтьев:

— К чему это твоя присказка?

— А к тому, что мозгами нам надо шевелить. Ум-разум не поможет, так, видно, одной силой нам не взять.

— Чтобы мозгами шевелить, — жалуется Саша, — надо их иметь. У меня Ум-разум вовсе от рук отбился. Я ему говорю: «Помогай», а он, как в насмешку, одно твердит: «Поставь лодку на колеса: где мелко — прокатишь, где глубоко — проплывешь».

— Это он в насмешку, — соглашается начальница. — А не присоветовал он тебе, на что эти колеса надеть, где оси выковать, как их приделать?

— Нет, не сказывает, — отвечает Саша.

Леонтьев говорит:

— И у меня Ум-разум не много веселей шевелится. Посоветовал он мне водой песок под лодкой промывать. Фанерным листом я струю направляю о бок лодки, водой песок несет и за минуту под лодкой промоину вымоет. Не успеешь оглянуться — лодка на плаву.

— Это же замечательно! — обрадовалась Ия Николаевна.

— В том и дело, что вовсе не замечательно, — отвечает Леонтьев. — Это Ум-разум шутки шутит: весь песок сразу за носом лодки садится, мель-то еще больше делается.

— Ну и пересмешник этот Ум-разум, — говорю. — Отсмеем-ка мы ему отсмешку.

Все глаза на меня уставились.

— Рекой, — говорю, — он нас не везет, так заставим-ко его нас озером везти. На сонливого да ленивого плетка-живулька есть: сонливый, так буди раньше, ленивый, так наряжай чаще.

Все трое наперебой спрашивают:

— Какая плетка?

— Как его добудишься?

— Что надумала, выкладывай...

— Вот я что надумала.

И вывожу всех из палатки.

Палатка наша была раскинута в этот раз на стоячем речном берегу, река смыла берег, как ножиком срезала.

А рядом с палаткой — круглое озеро с островками. Шириной оно с версту, глубокое, без мелей и трав.

Показываю я на озеро.

— Вот, — говорю, — мне Ум-разум лошадку дал: сумеите оседлать — всех увезет.

Тут все распоняли, о чем я говорю. От озера до реки было каких-нибудь три сажени.

— Озеро спустить? — спрашивает начальница.

— Ну да, — говорю. — Берег просекем, так вода сама волю возьмет, не удержишь ее. Вода берег располощет, в реку грянет и мели зальет.

Берег в этом месте для лопаты был подначальный: мягкую боровину да рыхлую тундровину лопаты шутя крошили. У наших больных на ту пору вся боль отскочила. Лопаты свистят, комья летят, как в руде оба роятся.

Срезали они дерно канавкой, а под дерном земля мягче, лопаты ее легче берут. А все же легота эта — не в карты играть, а землю метать. Сухой песок переметывать — и то за день руки надергаешь: не перо в руки берешь, а лопату. И Леонтьев, и Саша, видно, не худо были лодками искорежены: час-другой похрабрились, да и снова начали за спины да за руки хвататься.

Видим мы, что это дело одним днем не возьмешь, а все же своего добиться хотим: и знаем, что озеро никуда не скроется, наше будет, а торопимся, будто боимся чего-то.

Когда наших землекопов снова скрючило, отправили мы их в палатку, а на подмену обе с Ией Николаевной за лопаты взялись. Раз задумали удачу искать, так уж силы своей не жалеем.

Сколько могла, тянулась за мной Ия Николаевна. И фуфайку она сбросила, и накомарник скинула, а все ей жарко, пот по лицу горохом катится.

А лопаты начальница не бросает: дело под задор пошло, и срамиться она не хочет...

А к нам уж и смена идет.

Канавы наша вдвое и в длину подалась и в ширину раздалась: бока у ней торфяные блестят, ровные, как утюгом приглажены. После отдыха наши работнички опять зашевелились, свежей силы не утаивали. Так менялись мы раз полдесятка.

От речного обрыва к самому берегу озера вела теперь канава глубиной в сажень. Озеро от канавы отделялось только узенькой переймой¹. Разбить перейму лопатами так, чтобы озеро на сажень спустить, — всего на полчаса работы осталось.

И стали сечь лопатами верх у переймы. Раз ударили — и вода струйкой потекла. Другой ударили — ручейком полилась. Третий ударили — ручьем загремела.

— А ну, Сашка, — лодки держать... А вы чего ручки свесили? Живо палатку снимать! — кричит Леонтьев на нас.

А сам за водой смотрит. Вода из озера по-настоящему загрохотала, каждую минуту все больше размывает перейму. А к той поре, когда у нас все было на лодки погружено, вода валом пошла и канаву так располоскала, что бока у нее обрывает.

— Ну, — говорю, — весь берег разнесет. Надо самим пятки убирать.

— Угонитесь за лодками-то? — спрашивает нас Саша.

— Не угонимся, так дождете, — отвечаю, — на мелях-то мы вас ждали.

— Не отстанем, — говорит начальница. — Коротайку-то вон как всю мысами вывертело. Напрямик пойдём, так еще ждать вас придется.

¹ Перейма — перемычка.

Поплыли наши лодки, как две птицы-водоплавки: воркутинская лодка — чайкой белоперой, а за ней лодка Большого Носа гагарой тянется. Подхватил их озерный вал — как на парусе понес.

Кричу я им вдогонку:

— К берегам близко не ездите: глаза кустами охлещут.

Не успели мы с начальницей с места сняться, а лодки уж из глаз сокрылись. Довольнехонька Ия Николаевна, что мы озеро вместо лошади оседлали, покуривает она цыгарку-самокрутку да смотрит, как вода все больше ярится, как она берега у канавы все больше разбуравливает.

— Как бы, Романовна, и нас с тобой не унесло, — говорит начальница. — Пойдем.

Идем мы тундрой, выбираем места поглаже да посуше, а берег из глаз не теряем. И час идем, и другой идем — а никак узнать не можем: впереди наши лодки али позади.

— Остановимся, подождем, — говорит начальница.

А я вижу, что вода из озера до нас по Коротайке докатилась.

— А что, — говорю, — если они это место проплыли? Будем стоять — еще больше отстанем.

— А если мы перегнали? — спорит Ия Николаевна. — Дальше пойдём — еще больше от них оторвемся.

Вижу я, что у всякого Павла своя правда, а все же говорю:

— Лучше перегнать, чем отстать. Перегоним, так мимо не проедут, укараулим. А вот уж коли отстанем, так тут беды не оберешься.

Еще прошли столько же — опять тот же спор. Совсем было начальница на берегу уселась, а я новым страхом припугнула.

— Ждать-то бы, — говорю, — и можно, да по всему виду здесь место зверистое: медведь должен здесь бродить да и волчий след я только что видела.

— Чего же ты раньше не сказала? — спохватилась Ия Николаевна.

— Да пугать, — говорю, — тебя не хотела. Вперед ли, назад ли, а верст пять отойти надо.

— Зачем же назад, — уговаривает Ия Николаевна, — Итти так вперед.

А сама уже впереди меня шаги отмеривает.

Кустами да болотами нас на этот раз далеко от реки отвело. Ушли мы в какие-то дикие места, к большим озерам с песчаными сопками по берегам. На первой же сопке вижу я на песку чей-то крупный след: не такой круглый да маленький, как лисий, и не такой круглый да большой, как волчий. Похож этот след на собачий, такой же он продолговатый. Только знаю я, что таких крупных собак у ненцев не бывает: след от ненецких лаек чуть больше песцового.

— Росомаха прошла, — говорю я Ии Николаевне.

И самой мне что-то не по себе стало.

— Пойдем, — говорю, — отсюда поскорее.

Вдруг начальница увидела чего-то на песке, нагнулась и смотрит. И минуту стоит, и другую.

— Не заветный ли, — говорю, — сундучок нашла?

— Лучше, чем сундучок, — говорит. — Ракушка.

Показывает мне кругленькую, как орешья скорлупа, ракушку и по имени ее называет, по изотчеству величает, будто своего старого знакомого встретила. Говорит: когда эта ракушка зародилась и в каких морях росла, и как сюда попала?

— Росомаха-то — говорю, — не пришла бы.

— Ничего, — говорит, — может быть, не придет, а только должны мы с тобой все эти пески высмотреть.

И сама она оползала и меня заставила обойти все песчаные эти берега от сопки к сопке. Вижу я, что начальница не страшится зверя, — и моя робость пропала.

Проискали мы с час, я еще две ракушки нашла. Одну начальница тут же выбросила, а про другую говорит:

— Это очень редкая ракушка: ее в Москве показывать надо.

И завернула ее в бумажку, а в книжку свою что-то записала.

Долго после этого шли мы еще от Коротайки поодаль, пока не уперлись в какую-то речку. Речка привела нас к берегу Коротайки, и там, где она выбежала, мы волей-неволей остановились.

— Тут, видно, нам и ждать надо, — говорит начальница. — Все равно речку нам не перейти.

И только она успела это сказать, пониже нас на какую-нибудь версту слышим — выстрел.

— Наш карабин, — говорим мы с начальницей в один голос.

И обе повертываемся речку смотреть: как-то нам одолевать ее надо.

Коротайку мы едва узнали: от озерной воды стала она такой глубокой да широкой, будто и мелей в ней никогда не бывало. Подперла она нашу речку — и у той глубины прибавилось. Бросила я в воду веточку — она на месте стоит.

— Зато, говорю, — быстери в ней вовсе нет.

Ия Николаевна будто одной головой со мной думала.

— Да, — говорит, — переплыть ее безопасно можно.

Речка и не широкая, сажень двадцать, а все же плыть с узлом одежды на голове не больно подручно. Ну, а как разделись, тут комары да мошки стоять не дадут, загонят в воду. А в воду зашли, тут уж смелость сама пришла.

Плаваю я не худо, а все-таки Ия Николаевна кручей меня к другому берегу выскочила. Оделись мы на скорую руку и опять через мыски да носки напрямик бежим, откуда силы прибавилось. Один мысок перешли и видим: Леонтьев да Саша, как два лешака, по кустам скачут да кого-то стреляют.

А из куста от наших охотников прямо на нас, вижу, бегут два гуся. Не сплошала я, дорожным посошком своим хлопнула одного из-за плеча, он и в землю ткнулся. А другого не могла догнать.

— Что с ними? — спрашивает начальница про гусей. — Почему они не летают?

Не знает Ия Николаевна, что гусь в это время перо меняет.

Вместе с моей добычей набралось у нас девять гусей.

Отеребила я их, приготовила, наварила-нажарила, на стол поставила. А стол наш — фанерный лист на вьючном чемодане.

В тот день мы проехали не меньше вчерашнего. Озерную воду хоть и пронесло, река была глубокая, с высокими приглубыми берегами. Между плесами теперь мучили нас каменистые перепады.

Сыздали еще слышали мы первый перепад: вода на камнях бьется, как ветер шумит, возле каждого камня ключом кипит. Когда перепад на виду показался, видим — там как стадо белых оленей на воде пасется, всю реку камни запрудили.

Перед самым перепадом в конце плеса приткнули наши бурлаки лодки к берегу и пошли на берег реку смотреть. И видно нам с высокого берега, что русло не сплошь камнями завалено, а между ними будто ручейки пробегают. А один ручеек других поболее, у нас его горлом зовут.

— Вот это и есть фарватер, — учит Леонтьев Сашу. — На воде его не так видно. А надо его сыздали распонять и лодку на него выправить.

Встает Леонтьев в Сашину лодку и выплывает на самый субой¹. И так ловко у него шест лодку повертывает, что вода перед самым перекатом сама лодку в субой несет. Встанет из пены перед лодкой камень, а шест в дно упрется, чуть на корму нажал, глядишь — камень стороной прошел. Проскочила лодка между пеной, а за каждым

¹ Субой — фарватер.

клочком пены камень спрятался, а там уж подхватили ее волны, где перепад кончается, и вынесли на новый широкий плес.

Развернул Леонтьев лодку в заводи, присунул к берегу, вернулся к своей лодке и тем же побытом ее в заводь провел.

— Вот так и тебе дальше свою лодку вести придется, — говорит он Саше.

— Проведу, — говорит Саша, — не беспокойся.

Новый перепад был ничем не хуже прежнего. Проплыл его Леонтьев, а Саша за ним. Со стороны-то ему и легким делом казалось перепад проплыть, а сам взялся — ему и страшновато. Растерялся он, засуетился, не сумел вовремя отвернуть нос лодки от камня и... вывернулся из лодки в воду. Повернуло лодку боком, боком вдоль камня востряка пробороzdило и половину наших манаток в воду выпружило. Хорошо, Саша вовремя на ноги вскочил, поправил лодку, не дал ей совсем перевернуться. Хорошо, что и Леонтьев не задержался, с ближнего носка бросился к Саше и успел выхватить из воды, что под руку подвернулось, и на берег метнуть.

Той порой Саша с лодкой воевал. Быстерью лодку с перепада в самую глубь тянет. Упирается Саша, а сам шаг за шагом вперед ступает. А когда вода по грудь стала, отпустил Саша лодку, на берег выбрался да на другой лодке догонять бросился.

Пришлось нам снова стоянку делать, и одежду, и крупы, и сухари сушить. Сахарный песок тоже размочили. В ведра мы его сложили, чтобы весь не вытек, и сахар из него сварили.

Пока я со своим хозяйством возилась, вся наша троица по каким-то ручьям да озерам шарила. Придут они вечером, а я их за неранным обедом выпрашиваю:

— Не нашли еще наш заветный клад?

— Не нашли, — отвечает Ия Николаевна, — а найти обязательно нужно.

— Как не нужно, — говорю, — зря, что ли, государство на нас казну метало!

Еще один день мы плыли без помехи и задержек. Стороннему человеку легко бы догадаться, что где-то вверху плывут лодки. Впереди лодок за добрую версту плыли и подлетывали, и снова плыли утки да гуси. Саша и Леонтьев у больших мысков причалят лодки, мыс пересекут пешком, обгонят гусей и откроют пальбу: Саша дробовик любил, а Леонтьев — карабин.

Плыли мы еще с неделю. Дни проходили, как свечки тухли. В недолгие летние ночи успевали мы на ночлегах и друг с дружкой поделиться всем, что за день видели, и отдохнуть для нового пути. Вот однажды Ия Николаевна и говорит:

— Сегодня я по одному ручью верст за пять в сторону забежала, все думала что-нибудь интересное найти. А, смотрите-ка, что нашла.

И показывает нам песцовый капкан.

— А в капкане, — говорит, — чуть не целый песец.

И вынимает песцовую заднюю лапку и хвост. Хвост уже обопрел и в глине да иле вывален.

Саша рассказывает:

— А меня чуть ястреб не заклевал. Велела ты нам, Ия Николаевна, все осыпи осматривать. Вот мы с Леонтьевым полезли на одну, а над нами, видим, два ястреба кружат. Оказывается, на этой осыпи гнездо у них. Выполз, вижу, из гнезда ястребенок: лохматый, перье встопорщено. И во весь свой голос орет он, будто его режут. С провизгом кричит да со скрипом каким-то, будто у него в глотке стекло о стекло трется. А отец с матерью кружили-кружили да как начали на нас пикировать, что нам удирать в лодке пришлось. Уже по реке плывем, а ястреба все еще на нас лезут. Едва отстали.

— С ястребами, — говорю, — не шутите.

И про свою удачу рассказываю:

— А я, — говорю, — нашла сегодня лошадку. Пока ты, Ия Николаевна, вверх по ручью ходила, обшарила я кусты и нашла там лодку. Теперь и мы с тобой поплывем, ноги беречь будем.

Лодка — в дырье, хоть пальцы в нее пихай, а от нужды ехать можно было. Когда снова в путь собрались, сел я в весла, а начальницу заставила воду лить.

— Пассажиров, — говорю, — даром не возят.

И с той поры Ия Николаевна не расставалась с ведром, с утра до ночи брякоток да булькоток стоял. Только где голый берег встретится али осыпь, велит мне она к берегу пристать.

— Надо, — говорит, — не пропустить чего-нибудь.

На берегу Ия Николаевна — снова начальница: командует, кому куда пойти, где яму выкопать, где берег очистить, где пробу взять. А в лодку зайдет — снова она водолей.

Три дня шли проливные дожди. В лодки вода не столько дном, сколько сверху заходила. Комары и мошка в мох запрятались и дали нам отдохнуть. К концу третьего дня дождь перестал, и мы в сумерках остановились перед большим, широким и длинным перепадом. Шумит вода на камнях не по-доброму, и страшно нам через эти камни ехать. От кустистого и травянистого берега нас далеко отвела низкая песчаная отмель. Пришлось нам выгружаться прямо на песок. Разгрузили мы лодки, поставили палатку на речном песке, попили-поели и спать улеглись.

— Не успели мы на один спень¹ соснуть, слышу я, — за палаткой что-то неладно: не шумит вода на перепаде, а волна в берег плещет не по-здешнему, шурчит и где-то рядом с палаткой по песку рассыпается. Выглянула я из палатки и не узнала Коротайку: нет уже нашей Печоры — разлилась она, весь перепад закрыла и рядом к самой палатке подошла. Бужу я своих:

— Вставайте! Моряна подошла.

Вскочили все, а вода уже вокруг нас обошла, от берега нас отрезала и в палатку заглядывает. В чем спали — в одних трусах — схватили что под руку и начали перетаскивать

¹ Спень — промежуток времени, когда человек спит, не просыпаясь.



да перематывать пожитки: спальные мешки, меховую одежду, образцы, продукты. Перетаскивали мы свой лагерь сажень на сто по кошке на травяной бережок, к самым кустам.

Лодки переправили мы в маленький закуток и поставили к самому берегу.

Поговорили сколько-то, что вот, мол, чуть в подводном царстве не очутились, и снова спим. А мы с Леонтьевым на всякий случай оделись. Спать-то я и сплю, а воду караулю. Глаза приоткрою и вижу, что вода дальше — больше хлещет. Вот она! И кошку стопила, все залила до самой травы-бережины и опять в палатку заглядывает.

У Леонтьева вода под спальный мешок подтекла. Бужу его:

— Вставай, пора чай греть: вода сама в чайники просится.

А он одним глазом взглянул, ноги приотдернул и говорит:

— Еще спать можно.

— Видно, — говорю, — про тебя эта сказка говорится. Слушай.

«Жили-были два брата — Лень да Отек. Лежали они на берегу и страшно пить хотели. А до воды сходить им лихо: все прибылой воды ждали. Подогнала моряна воду, под самый бок плещет. А тем и повернуться лихо. Говорят:

— Вода в рот не попадет, — подождем еще.

Напились, когда совсем стопило, да и сейчас там пьют».

Проняло Леонтьева сказкой, прогнало сон. Поднялся он сам и других поднял. Пришлось нам за одну ночь на третье новоселье перетаскиваться. Чуть не на самую тундру поднялись.

— Ну, — говорю, — ребята, теперь выбрались на бесштанное становье, без штанов можно спать.

А Леонтьев идет от лодок, и лица на нем нет.

— Лодку, — говорит, — унесло.

— Какую? — в один голос спрашиваем мы.

— Воркутинскую, — говорит.

Воркутинская новая лодка была полна продуктов.

Когда согнала нас вода первый раз, на всякий случай оставили мы продукты в лодке, если вода еще прибудет, не надо снова продукты перетаскивать.

Живехонько свернулись Леонтьев и Саша и побежали лодку догонять. Говорят:

— Где-нибудь прибьет же ее к берегу. Волной не зальет, так все цело будет.

А волна расходилась, белью забелела, ветер с головы волосы рвет, только что с ног не валит.

— Неужели это от моря вода прошла? — спрашивает Ия Николаевна.

— Нет, — говорю, — это вода-верховка. В горах недельный дождь прошел — вот воды речками и нагнало. То мы по сухой воде маялись, а теперь, пожалуй, воде не рады будем.

Вдоль по реке рвал пену с волн и подымал, как копоть, низовой ветер — дольняк. Он пригибал к земле матерые кусты, обламывал ветки, обрывал листья, — вот-вот, думаешь, корень из земли вырвет. А по небу, как морские волны, неслись без остановки легкие, проворные облака.

Одна за другой выходили мы с начальницей по очереди из палатки и смотрели — не плывет ли наш корабль с моря. А корабля нашего и в повиданье нет, и корабельщиков не видно. Залило водой все кошки песчаные, все носки каменистые, выпрямило все кривялики, и за широкой водой видно только одни кусты. Смотрю я, как ветер их к земле приклоняет, к воде пригибает, и вижу: вдоль берега плывет снизу к нам большой куст ольшаника. Протерла я глаза — нет, все равно плывет. Только когда увидела я из-за этого куста голову Леонтьева, распоняла, что куст стоит на лодке вместо паруса. Ветром возле берега воду кверху гонит, да зеленый парус больше того помотает, — вот и летит наша легкая шлюпочка, будто стрела каленая из тугого лука. Леонтьев едва управляет, шестом лодку от сухого берега отворачивает, а то она только-только дном воду хватает; где ветром чуть-чуть припружит — всю донницу видно.

А посередке лежит на продуктах Саша и нам улыбается, только зубы белеют. В кою минуту подбежала наша лодка-самоходка к самой палатке и с разбегу выскочила на сухой песок.

— Все в порядке? — спрашивает Ия Николаевна.

— Все цело, — говорит Леонтьев. — Прибило ее ветром-боковином под крутой привалок к тому берегу, и стоит она там, как на якоре.

До вечерней зари пролетел вихорь перелетный и стих. В гору ли он пал, в море ли утонул, а только на землю и на небо пришло перетишье. Облака разошлись, только кое-где остались редкие пластины, да и те заиграли на солнце, будто веселые глаза открыли. А внизу заря зацвела. И все небо — как голубая кашемировая шаль с расписной каймой.

2

Серым горючим камнем лежала моя материнская боль. Разжигался тот камень от наших речей, накалялась боль моя докрасна, и вот в сердце что-то расплавится — и потекут мои слезы, польются слова. Тогда и родились мои новые воинские плачи.

Не знаю я, как складывают свои песни письменные люди. А причитанья мои по сынам любимым огненными буквами написаны на моем сердце: моим гневом они живут, моим воздыханьем дышат, моими проклятьями рушат тридцать три беды на фашистскую змею многоголовую.

Прежде горе людям тоски придавало, а война с фашистами проклятыми — гнева каленого. Тоска людей к земле гнала, а гнев да ярость от земли подымали: лежачего садили, сидячего на ноги ставили, ходячего в бой вели. Вот и мое материнское горе подняло меня на ноги. И не давала мне ярость покоя, пока я всю ее до последней искорки не выложила в свои причитанья по сыновьям.

Хоть и простые в плачах слова, а надо их откуда-то взять. Запаслася я с самой ранней поры драгоценной шелковой кошелкой. Полвека собирала я в ту кошелку дорогие да отменные слова. Полвека берегла я верные глаза, хранила чуткие уши, плодила крепкую думу, набирала красную речь. И когда взялась я складывать плачи по любимым сыновьям да проклятья свои материнские рушить на голову Гитлеру — было где взять

мне и светлую мысль, и четкое слово: врагам на устрашение, себе — на утешение, добрым людям — на поддержку, родине — на закрепку, сыновьям — на вечную память.

Где днем, где ночью, на долгих и на минутных остановках выкладывала я свою ярость и свою печаль в проклятья да в причитанья. И в каждом слове лютость к врагам и любовь к сыновьям, как вода с песком, сомешались.

Было мне чем поделиться с Леонтьевым. Два сына из семьи у меня потерялось в неизвестной пути-дороге. И никто не собрал их следы: будто белый снег был и растаял. Потянули буйные ветры с великим громом, с палючими молниями; и сынов моих, как красные деревья, опалило, как алые цветы, обронило, как спелые ягоды, оборвало.

Летали два сокола по поднебесью, налетело на них коршунье, и вот у моих ясных соколов приопали широкие крылья, и перье соколиное обронилось.

Говорила я в причитаньях, что не стыдной смертью сыны мои померли, а на защите земли Русской; славу русскую они не обеславили, честь свою молодецкую не обесчестили. И за то, что ими честь не уронена, быть им во живых вовеки.

Искала я в своей шелковой кошелке и черные, остудные да прострельные слова на голову глотоеда Гитлера, на завидущие его глазища, на загребущие его ручища, на змеиные его челюстища, на его ненаедное брюхо, на ненасытную его утробу. Кровь нашу советскую он задел, сердца материнские вередил, — и нет ему за то прощения. Удрогнуло у людей сердце и возмутилась кровь. И злоба наша на лютого живоглота жарче пламя, крепче камня, тверже кремня.

И перед лицом семи свидетелей: ясна солнца, светла месяца, утренней ранней и поздней вечерней зорь, перед лицом хлеба и соли, и свежей ключевой воды — как на семи больших соборах, прокляла Гитлера веки-навек.

Знала я, что буду спокойна только в тот день и час, когда все мы, от стара и до мала, будем праздновать победу над Гитлером. А что этот день придет — не могла я не верить.

Потому я верила, что против фашистов вся Россия поднялась. А я за свои полвека и то не однажды видела: кто с Россией ни тягался, в правых не остался. А советская Россия — новая, это Россия. В ней народ с народом сомкнулись и человек с человеком спаялись.

Это потому я веру в победу держала, что Армию нашу Красную Ленин вспеленал, Сталин воспоил-воскормил, а весь народ наш советский вместе с партией докрепка укрепили. И не могу я не верить в армию, где бьются такие же твердые люди, как мои сыны — Павел и Андрей Голубковы.

А еще моя вера из Кремля крепости набиралась. Там наша радость и наша любовь, наша сила неиздержимая — Сталин. Я в далеком своем Нарьян-Маре и ушами, и сердцем слушала каждое его драгоценное слово.

Все знают, что слово Сталина делом красно: сильному оно могут прибавит, умному — мудрости, смелому — храбрости, ловкому — ухватки, бойкому — удачи.

А мне оно прибавляло веры.

3

Еще в Воркуте мы слышали, что есть на Коротайке, повыше Сарамбая, заготовительный пункт, и что живет там какой-то Спиридон. Говорили про Спиридона люди, что он везде бывал и все видал, сам с верху Печоры, а все тундры когда-то успел обходить да объездить.

Давно мы караулили, как бы Спиридонов дом не проплыть. А теперь, после долгого пути, знали, что этот дом близко.

Плыли мы на этот раз смело: водой все кошки стопило — где хочешь поезжай. Саша лодку ведет — песни поет, а Леонтьеву да начальнице не до песен: они ведрами из лодок воду выливают, только брякоток стоит.

И везде впереди наших лодок подымались утки, ныряли гагары, плыли линные гуси. Гуси собираются на линьку большими стадами, в иных местах тысячами считать можно.

Берега на этот раз пошли низкие, одна тундра, без песков и камушков.

— Ничего интересного нет, — вздыхает начальница.

— Зато, — говорю, — нам теперь росомашьими ускоками вперед скакать можно.

И все же Ия Николаевна где только увидит сопочку, — хоть далеко от берега, — не проплывет мимо, а велит к берегу пристать и бредет туда через болота с Леонтьевым али с Сашей за образцами.

Через два или три дня после наводнения увидели мы впереди, на высоком левом берегу, какой-то дом.

— Не иначе — Спиридонов дворец, — говорю.

— Заготовительный пункт — соглашается начальница и объясняет: — Видишь, как раз тут две речки в Коротайку впадают: Париденя-Яга и Ярей-Ю. Они у меня и по карте значатся.

— Ты лучше смотри, — говорю, — вот тут и третья речка.

В самом деле — три речки, как три сестры-тройняшки, выбежали к нашей Коротайке в полной воде купаться. Ахает Ия Николаевна, то на речки, то на карту смотрит и глазам своим не верит. До той поры она проахала, пока мы к самому угору под Спиридонов дом подплыли. Вытащили мы лодки вместе с грузом на сухой берег, поднялись на угор. Недалеко от дома дымили два чума, возле них бродил и щипал мох молодой олешек.

Дом Спиридона почернел от годов, пазы зеленой плесенью покрылись, а на плесени — красные лишайники. Возле дома были приложены нарты, стояло большое точило своеручной тески с деревянной осью и ручкой. В стороне притулилась к берегу черная баня, а в другой стороне — большой по здешним местам склад, не меньше дома.

Зашли мы в дом. Передняя половина на две комнаты перегороджена, а в задней — сени, и кухня. У стола за самоваром Спиридон со своей старухой сидят.

Поздоровались мы.

— Здравствуйте, гости. Проходите, не осудите. У нас на Печоре говорят: из-за доброго гостя всем хорошо.

— Остановиться у вас можно? — спрашивает Ия Николаевна.

— У Спиридона ни для кого запора нет: для того и двери просечены, чтобы люди заходили. И на хлеб едока, и на печь седока — всех могу принять.

Да тут же нас и за чай усадил. Осмотрелась я, вижу: в избе у Спиридона стены ничем не украшены, только из переднего угла угодники смотрят. И сам Спиридон как с иконы сошел: лицо строгое, лоб многотумный, до самого затылка вырос, борода седоватая, кудряшками взялась и снизу надвое расклинена. Только глаза у него греховодные: и смехом светятся, и лукавство мечут, — с такими глазами его к раю и поблизку не подпустят.

— Отколешные будете?

— Московские, — говорят Саша с начальницей.

— Архангельский, — говорит Леонтьев.

— Печорская, — отзываюсь я.

— Землячка! — обрадовался Спиридон. — Я ведь с Кожвы.

— Это от нас больше тысячи верст; — говорю я. — Я нижне-печорская, из Нарьян-Мара, Маремьяна Голубкова.

— Маремьяна из Нарьян-Мара, — поддел Спиридон, — и еще твердит: — Маремьяна из Нарьян-Мара... Маремьяна из Нарьян-Мара...

Не вытерпела Спиридонова старуха, заругалась:

— Замолола безголова... Тебе на одну губу пуговку нашить, а на другую — петелку, да покрепче застегнуть, — ты и тогда не замолчишь.

— Молчи уж ты, старуха, а я не могу. К молчаливой жизни любой бес вяжется, всякая ересь набредет.

И старуху честить принялся:

— Не дает бог смерти бабе. Посмотришь — любая хворь к ней льнет: каково погодые, таково и у ней здоровье, на улице — дождь, а на ней — дрожь. А вот, поди, ты...

— Впереди смерти помирать нельзя, — огрызается старуха.

— Так чего же ты живым-то дорогу загораживаешь? — горячится Спиридон.

В это время вошел молодой краснощекий парень и вежливо поздоровался с нами.

— Вот Вася меня за такие слова не похвалит. Говорят: и лыком шита — да мать, и шелком шита — да мачеха.

А под конец на старуху глянул с лукавством и вздохнул:

— Видно, не судьба мне у молодой женушки под крылышком поспать. Дана, говорят, кость, так грызи до плоти.

Леонтьев той порой поговорил с начальницей и бутылочку спирта на стол спроворил. Спиридон ажно руками всплесконул:

— А вот и молодка — красная головка, белый фартучек!..

За рюмкой Спиридон пуще прежнего разговорился:

— Живу я, други, один как перст на сотни верст. Третий год живу. К одинокой жизни привычка нужна, а я на людях вырос. Вконец истосковался я по умному человеку, по чуткому уху, по дельному слову.

— Будто и не живал за свой век в одиночку? — не верит Леонтьев.

— Не живал, — трясет головой Спиридон. — То с братом, то со сватом, то с каким ли напарником, а все не один. Вот охотничать я семи лет начал. Было у моего дедка ружьишко кремневое. Ни носить, ни держать я его не мог. А дедко целиться не мог: глаза слабы. Вот и промышляли мы вместе: мои глаза, его руки. Пойдем мы с ним осенью в лес на белку. И учит меня дедко, как смотреть, как подходить, как стрелять. И я по его словам исполняю. Подойдем к дереву, положу я ружье на дедкову спину, нацелюсь и стреляю. Пойти всегда белка с дерева падала, беспромашно бил. И вот мы, старый да малый, не меньше большого

охотника добывали. Одиннадцати лет я вдвоем с братом, девяти годов, на настоящую охоту пошел, за полтора верст от дому. За осень по трем рекам добыли, помню, сотню пар рябчиков, да двести хвостов белки, да двадцать горностаев, да пять норок, да сорок тетерь. С тех пор пятьдесят годов у меня один календарь: то с кожвинцами охотничал, то с плотоводцами плоты водил, то с учеными людьми в экспедициях бродил, а теперь третий год по тундровым рекам рыбу ловлю да песка промышляю.

— Выходит, ты на Печоре пятьдесят восемь лет прожил? — спрашивает Спиридона Леонтьев.

— Выходит... Так у нас заведено было. Отцы наши что говорили? «Каждому человеку на земле свой путь положен, да не каждому светит звезда путеводная. Кому звезда светит, у того ноги ходки, глаза хватки, мозги широки, путь-дорогу издалече видят и понимают. Идет такой — не оступится, оступится — не упадет, а и упадет — не пропадет. Но худо тебе, человек, когда сокрыта твоя звезда! Без своей звезды путеводной пойдешь ты лисьими тропами да мышьями норами и выскочишь на такое лихое бестропье, что тебе, как зайцу в половодье, никуда не податься: сколько ни вертись, а не избыть беды неминучей».

В ту пору и я верил: коли тебе путь не предуказан, сиди, как гриб, — где вырос, тут и выгниешь. Вот и я со своей уготованной тропы в сторону не сбивался, судьбе впоперечку шагу не ступил. Все думал: судьба-матушка поперечки не любит, сунешься ей под ноги — в сумет¹ сомнет. И смотрел я на жизнь как на реку неоглядную. А ветра на ней паркí, переезды широки. По той реке без судьбы — что без паруса, лодку не несет. И небо ясно, да плыть опасно. А с судьбой, мол, и тонуть начни — выйдешь из-под беды, как луг из-под воды. С судьбой везде тебе путь да дорога, езжалая погода.

Слушал-слушал Спиридона Саша, и подернуло его поддакнуть. Чокается он со Спиридоном и говорит:

¹ Сумет — сутроб.

— Вот что правильно, старик, то правильно. Знал бы ты, где я был да что я видел. А судьба-матушка вывезла. Без судьбы давно бы и тропка моя оборвалась, и звезда бы моя погасла.

Спиридон как на чудо какое на Сашу воззрился:

— Небось, на войне был?

— На войне.

— Так, гостюшко, так, — поддакивает Спиридон. — Раз на войне воевал, значит страховитые виды там видывал и всякие огляды знавал.

Выпил Спиридон свою чарку, смотрит на Сашу зорко, а говорит ему резко да веско:

— Вот что, гостюшко. Раз ты сюда в добром здравии пожаловал, без видимого увечья, без душевредных ран, — не судьба тебя вывезла да вывела. Судьба без человека все равно что слепой котенок. И, выходит, не она тебя, а ты ее за уши приволок.

У Саши чуть глаза на лоб не вылезли:

— Шутки шутить, Спиридон?..

— Нет, гостюшко, ты шутки не шути, а я еще ни с кем так всурьез не говорил, как теперь с тобой. Мне вон год назад шесть десятков стукнуло, и я не дутым ветром, а своим умом живу. И веру свою я не с пуста ума сменил, а жизнью научен...

Друг перед дружкой начали мы Спиридона упрашивать:

— Расскажите, Спиридон Данилович.

Спиридон оглядел всех, бороду огладил и говорит:

— Ну, слушайте. Только уговор: не тпрукать, не нукать, не пресекать...

4

«На весь свет про нашу мать Печору слава идет. Говорят люди: мать Печора — золотое дно. Бывают, и привирают люди, а все же похоже, что дно у нашей поилицы-

кормилицы светлым янтарем выстлано, а в воде меж серебряной тины рыба с золотой чешуей ходит. Тони наши подходисты да уловисты. Рыба редких сортов и жирна, и икрянista. Пелядь — рыба отменная, нельма — еще слаще. Омуля нашего жевать не надо: сам во рту, как масло, истает. Что чир, что сиг, что сельдь, что хариуз, — любого к обеду подать не стыдно. С ветрами рыба подойдет — вода зыблется.

Леса наши любой зверь не обходит: бобер — и тот ухранился...

Иные судачат, что будто медведь на умаленье пошел. А вон перед самой войной такой случай был.

Поехала Настасья Степановна из деревни Корольки пожни чистить. И девчонку свою взяли двенадцати годов. Чуть отплыли, видят — через Печору олень плывет.

— Гребь-ко, девка, поближе, — велит Настасья.

А как подплыли — распознали, что не олень это, а медведь. Как бросится медведь на лодку!.. Хорошо, что он с носу пополз, обеими лапами ровнехонько уцепился, а то бы лодку враз опрокинул. Не сплеховала Настасья, схватила топоришко, замахнулась на медведя, а ударила-то мимо: медведь-то попался с понятием, отцепился от лодки и прочь поплыл.

Тут уж и Настасью задор забрал. Схватила она мачту от паруска — и ну ему ставить кресты да медали, кресты да медали. Струсил медведь, прочь плывет да ревет да головой трясет. А Настасья на девчонку орет:

— Гребь ближе...

Медведь к берегу, — и лодка за ним, медведь на середину — и лодка тоже. Всю голову ему исколошматила. А пока била — десять верст их пронесло. Вот медведь и не выдержал, тонуть начал. А Настасья за шкуру уцепилась — не дает тонуть. К берегу его приплавил на отмелое место да для случая еще раз двадцать палицей своей медведя окрестила. А потом мужиков с луга кликнула, они на сухой песок его вытащили и шкуру сняли...



Про птицу я уж и не говорю. Птица в наших краях и летовки и зимовки проводит. Весной выйдешь — от чухаря по лесу стон стоит: чухари свою любовь справляют. Куроптя иной год с погодками как снегу нанесет: охотники наши своей добыче счет на тысячи пар ведут. И для всякой залетной птицы, — для уток, для гусей, лебедей, — лето наше непременно. Хорошо им в подсолнечных землях, а все же на лето к нам в гости жалуют. В кормежке им у нас довольство: рыбы густо, ягод — что грязи в мокрое лето. Птенчикам птичьим — покой дорогой.

Я так сужу, что красовитей нашей Печоры во всем свете другой реки нету. Вокруг нас, куда не пойдешь — везде краса обронена, куда ни глянь — глаза полны и душа рада. До теплых мест, до дальних городов пуши несходимые растеклись. Выйди в лес на озеро — уходить оттуда через силу надо. Ходишь там — как в гостях гостишь. На березах малым ветром листья колыблются. Пичужка пичужке голос подает. Рябчиков свист в ушах тает. И берег, и лес, и небо в воду опрокинуты. Во глубине озерной облака плывут. Так бы и смотрел на все без сна и без отдыха, да неоглядна та краса.

Зимами у нас и того краше: ни комар к тебе не прильнет, ни в болоте ноги не ознобишь. Каждый угорышек, каждый кустик снегами выпушит. Все снега зайцы да лисицы вытропят, белки да горностаи путиками разрисуют. С ружьишкой да с собакой ходи по тем тропкам да путикам и вычитывай: какой зверь куда подался, сыт он али голоден, хитер-мудер али прост перед тобой. Лисица вон и хитра, а коли перехитрить ее — никакой в ней хитрости нету. Значит, и она от ружья не уйдет, быть добыче.

Не Печора, а скатерть-самобранка, везде на ней найдешь питание безубыльное. И в берегах Печоры золото и серебро, и всякая полезность кладами наложены. В горах — и государственная наживная казна, и рабочим достаток, и нам — печорским бывальцам да живальцам — прибыль. Я и прежде смекал, что земля наша таланиста, да только с ленцой. Старобытные здешние насельники новгородские до чего другого бойки были, а в нутро матери земли глянуть не удосужились. К Енисею и к Оби-реке

от наших деревень лыжницы проложили, за сине море на весельных лодках бегали, а от своей печорской земли отворачивались, спокон веку ее не ворошили, леностно на ней хозяйничали. Все добро по горам да по долам втуне лежало.

Век уж такой застойный был, нашей матерью Печорой судьба правила. Оно, конечно, и тогда были такие, что супротив судьбы итти норовили, своетоптанной дорогой. Отец мне сказывал, что ходил по нашим краям какой-то инженер Антипов, уголь искал. Только нашел — розыски прикрыли. Я мальчишкой был, помню, приезжал к нам другой битвенный человек — Сидоровым звали, Михаилом Константиновичем. Он и из купцов, а человек обстоятельный, книжный был. Объехал он всю Печору и Ухту. Около угля он не один год хлопотал, одной бумаги сколько извел, а толку не добился. После Сидорова профессор Федоров про уголь кричал, после Федорова — инженер Мамонтов, — все на моих глазах прошли, а все без пользы.

Вижу я, что коли всем нам, печорцам, скопом взяться, внавал навалиться — и то матерь-землю не шевелить. Не шла земля в услуженье людям — да и только: как работница к худым хозяевам.

Вот как революцию сделали, и к нам молодым ветром подуло. Вскорости приезжает к нам из Москвы одна профессорка, Верой Александровной звать¹. Сама молодая, здоровая. Печору нашу шутя переплывет да и обратно воротится. Кричит на нас:

— У вас, — говорит, — река и так, считай, непроточная, а шевелиться не будете — вовсе тиной зарастет!.. Надо, говорит, вам богатство своей земли множить, не вовсе же она запустела. Нужно, — говорит, — мне по реке Ылыч до Урала добраться, тамошние места попытать.

Поднял я ее по Ылычу до Ягра-Ляги. А она любой камень как земляка встречает, знает, как его звать-прозывать. Принесли мы ей камень: весь в дырках, как перстом истыкан.

¹ По-видимому, это была Вера Александровна Варсонофьева.

— Это, — говорит, — раньше здесь море было. Здесь особенные животные, вроде раков, жили.

Мы что-где оприметим, говорим ей. На выходе Ягра-Ляги нашли мы свинец. Камни матерые, тяжелые. Принесем их, в каменку бросим — они растают, а свинец останется. Мы из него дробь лили да тетерь стреляли. Нашли мы целые глыбы карандаша, грифель, краски. И золото ей показали: еще в старое время оленевод один на Ылыче брал из ручья песок на решето, промывал и золото сдавал за чистые деньги.

А она все для Москвы отписывает: недаром ее главной доглядчицей да доводчицей послали. Все запротоколила и уехала. Не один год она и после этого навевывалась.

— Что, — говорю, — без толку ноги трудишь?

— Будет толк, — отвечает.

— Нет уж, — говорю, — Вера Александровна, видно, от судьбы ни поклона, ни покора не дожидаться...

Потом, слышу, другой профессор — Чернов — уголь находить начал. Говорят люди: по всем нашим рекам уголь разметан: и на самой Печоре, возле Еджит-Кырты, и на Усе, — а она на семь сотен верст протянулась, — и на Адзьве, и на Роговой, и на Кось-Ю, и на Шарь-Ю, и на Заостренной, и на Большой Сыне, и на Воркуте. У Кось-Ю приток Неча есть, дак там, говорят, прямо на свет божий пласты по четыре сажени толщиной выходят.

Всю нашу мать Печору сверху донизу экспедиции обшарили. И тайбола, и тундра нонче как Мезенска тропа¹ затоптаны. Куда заядлые охотники на лыжах да на собаках не езживали, туда профессора на своих на двоих, слышу, добродят. Что в земле тайный лежало, то явным делают. Слышу, перемены круто вершатся, поселки в новых местах, как грибы в урожайный год, растут: Нарьян-Мар, Воркута, Еджит-Кырт, а там

¹ Мезенская тропа — старая тропа из Архангельска в Мезень.

уж Нарьян-Мар и городом зовут. Не вытерпел я, поехал в Еджит-Кырт, он от нас поблизку. Перед самой войной это было.

Приехал туда, — с Боярским Бором шахта рядом, — вижу, нашей Печоре никакие это не именины. Всего-то там три шахты, а одну уж закрыли: выработалась, — говорят. И домов, и людей там не густо. На лесопилке одна пила верещит, да и ту «смех-пила» зовут.

С директором обзнакомился.

— Чего, — говорю, — обмешкался? Взятся строить, дак строй как следует.

— погоди, Спиридон, — говорит, — все будет: вот бетон будем готовить да капитальные шахты заложим, да то да сё.

Махнул я рукой.

— Довольно уж я посулов слышал, а дела не вижу. По всей Россиюшке работа говором говорит, а Печору нашу матушку-реку судьба запомнотвала...

Только началась война, остановился у меня в Кожве один инженер-начальник, человек смирный, тихий, обходительный.

— Я, — говорит, — приехал к вам железную дорогу проводить: через Ухту и на Москву.

— Нам бы, — говорю, — какую ни на есть шутейную тропу сюда протоптать, и то бы для нас свет в окне был. Кроме экспедиций, мы пока еще мало чего видывали. Видно, — говорю, — у рек своя судьба есть. И раз у Печоры судьба колыхаться на отшибе, то и все труды ваши пойдут занапрасно, ничем возьмутся.

Глянул на меня мой гость смиренный, как на маленького, усмехнулся и немногословесно сказал:

— Увидишь, — говорит. — К новому году, — говорит, — в Кожву вашу поезд придет.

А год-то уж за половину перешел. Я тоже усмехаться умею.

— Тогда, — говорю, — видно, мать-Печора кверху потекет...

Живем и оба в свое верим. Он с инженерами своими по лесам мотается, а я прежним побытом рыбку ловлю да какого ни на есть зверя смекаю. И слышу: каждый день рядом с Кожвой шум и гром стоит. Людей откуда взялось — тьма-тьмущая привалила.

И до нового года не дошло еще — зовет меня мой квартирант с собой. И своими глазами увидел я, как к ихнему поселку, что давно они рубили да строили, первая машина с вагонами подкатила. И поселок тот станцией Кожвой назвали.

А инженер мой смеется:

— Вот, — говорит, — мы твоей Печоре новую судьбу определили...

Я опосля этого с месяц как верезённый ходил, все думал:

«Неужто я, старый хрен, весь свой век не в того бога веровал? Выходит, фатерщик мой правду баял? Был у Печоры свой путь заповеданный — к морю-океану, а тут люди ей новый путь открыли: в Москву-столицу, на похвальбу знаменитую. Гляньте, мол, люди добрые: вот она, мать-Печора — золотое дно, вот ее краса-баса, вот ее богатство. Да после такого дела людей людишками назвать язык не поворотится.

И доспела меня иная дума: и для рек, и для земель человек звездой путеводной светит..»

5

Пристала к Спиридону начальница: поедем да поедем с нами.

— Паек у нас, — говорит, — хороший, всю зарплату жене привезешь. Где еще такую работу найдешь? И не пустяками мы занимаемся, а нефть ищем. Нефть найдем — воевать поможем, скорей фашистов победим. А то чего тебе тут сидеть? Ведь ты человек бродяжный, неужели тебя побродить с нами не тянет?

Спиридон, вижу, без начальницыных упросов итти согласен, а все же Ию Николаевну отчитал:

— Про выгоду ты мне не говори. Последний это человек, если у него выгода впереди самого дела перед глазами стоит. А вот что дело это нужное да это сердцу оно любо, вот это — резоны. Знаю, что качнись удача в вашу сторону — мать Печора наша еще красовитее будет. И потом — в крови у меня это. В кои-то веки я столько места выбродил, что чорту веревкой не вымерять. И с экспедициями я не однажды тропы торил, да толку от них что-то не видно было.

А вот фатерщик-то мой, как провел к нам дорогу — все равно как сапоги-скороходы на Печору надел. Тут и слепому толк виден. В Кожве, вон, смотрю я из окна, а через Печору, вижу, мост перекидной переброшен. Разве в сказках прежде такие мосты строили? А за этим мостом город Кожва — столица наша печорская, стоит. На том месте еще два года назад пустой песок был. Когда в старину купцы от моря нашего на Чердынъ шли, как по тому Кожва-носку половину Печоры примечали: что вверх, что вниз — одна мера. И вот на пусте месте — город. Это ведь тоже сказкой пахнет. А сказку-то кто рассказывать начал? Экспедиция. И дорожной жизни привольство сердцу моему внятно, по сей день мной вольный ветер ходит. И отдохнуть бы костям пора, постоять да подумать перед смертью, да время не то. Война, небось, не одного старика расшевелила.

И руку начальнице Спиридон подает:

— Так и быть, поедем. Разомну свои кости старые, может, подоле поживу..

У Спиридона сборы недолгие. Напекла ему старуха хлебов, кулебяк с нельмой своего засола, и вот он готов в путь-дорогу.

Задержка была не за нами. Ночью раздулся ветер-низовец, поднял крутую волну. Утром кинулись мы к берегу, а воркутинской нашей лодки-беглянки опять нет. И не знаем мы, куда ее унесло: книзу быстерью али кверху ветром.

— Вверху ищите, — говорит Спиридон.

Сели Леонтьев с Сашей в Спиридонову стрельную¹ лодочку, искать поехали. А на Коротайке волна ходит морской волне сродни. Мечет лодчонку, как щепку, с гребня на гребень, подкинет ее волной — она ажно прискочит. А ребята плывут. Пристали они к выходу той самой речки, которой на карте не было. Побродили они там сколько-то, а потом — видим — выводят из устья беглую лодку.

Приплавил ее Саша на веслах. Все цело оказалось, только один бредень утонул, да куртку брезентовую ветром в воду сорвало, да воды пол-лодки налил..

Сходили мы как-то в соседние чумы к ненцам. Жили в этих чумах две семьи: зимами они возили на оленях почту, а сейчас рыболовничали. Сейчас олени паслись у моря вместе со стадами какого-то колхоза. Летовал здесь только один маленький олешек-авка. Авками ненцы зовут ручных оленей. Прикармливают их с малой поры всем, что сами едят, — и хлебом, и супом, собирают ребята для авки в мешок траву и прямо из рук кормят. Бегают авки по пятам за малыми и за большими и никого не боятся. Зато когда авка вырастет — таким нахалом делается, что не рад ему станешь. Зайдет он прямо в чум и все, что увидит съестного, слопает. В санях что уложено — разроет и тоже съест. Из-за этих воров ненцы замки на лари одевают. Только и замки их не спасают. Иной авка так присноровится рогами замки сшибать, что хозяева волком воют. Зато авка — самый здоровенный олень изо всего стада, и, когда его зарежут, мясо его жирней любой свинины.

— Как на фронте-то? — спрашивает хозяин чума. — Где сейчас воюют-то? Скоро ли Гитлера повесят?

Что мы знали, то и сказали. А и самим бы нам кто-нибудь рассказал, как дела на войне идут, так за сто верст за вестями сбегали бы.

¹ В стрельных лодках ездят на охоту — гусей да уток стрелять.



Ненцы недавно приехали с ловли. Привезли они рыбы всех сортов пудов десять. Вот Ия Николаевна роется в рыбном ворохе и спрашивает Спиридона:

— Это что за рыба, Спиридон Данилович? Наверно щука?

— Что ты, начальница, — ворчит Спиридон. — Она со щукой и в воде-то не часто встречается. Это нельма. Голова-то у ней тоже длинная, а все же до щучьего рыла далеко. Щука-то пестрая, как пестрядина своетканная али черноспинная, коли в озере жила. А у нельмы клёск¹ серебристый, собой она мясна да кругла, голова мягкая, не как у щуки. Хвост у нельмы не черный, как у щуки, а синеватый, перье помельче и цветом посветлей. Разве что белое брюхо тебя спутало да перья светлые на брюхе, — ну, так это у всех рыб так заведено.

Отобрала Ия Николаевна еще три рыбины и спрашивает Спиридона:

— А это что за порода?

— Тут не одна, а три породы, — неужели ты не видишь? Вот это чир. Клёск на нем крупный, спинное перье черное, весь он немножко желтоватый, как золотистой пенкой смазан. Вот это — сиг — он с мелким клёском, такой же серебристый, как нельма. А с чиром его спутать нельзя: перье у него светлее, губы длиннее и в глазах никакой желтинки нет, не то, что у чира. А вот это пелядь: с круглой черной головкой да и все потемнее сига, посветлей чира. А вокруг глаз красноватый поясок. Пелядь на сельдь похожа. Мы, бывало, купцам-чердынцам вместо сельди пелядок насолим — берут. А вкус-то у них до сельди далеко не дотянул. Да и сига подсовывали не того. Крупного сига у нас «отбором» звали, малого «уловом». «Улов» против «отбора» в половинной цене ходил. А того сига, что от «улова» отошел, а до «отбора» не дошел, «межеумком» звали. Так мы его впрямь с «отбором» по самой дорогой цене сбывали.

— Хороший ты был охмуряло, — смеюсь я. — Быват, и теперь так же подсовываешь?

¹ Клёск — рыба чешуя.

Сердито глянул на меня Спиридон и как ножом обрезал:

— Думай тоже, что говоришь-то... Самого себя мне, что ли, обманывать?

В чумах я увидела книжки.

— Учатся ребята-то? — спрашиваю я ненца.

— Лонись¹ третий семилетку кончил. Вместе со Спиридоновым Васей учился в Янгаре. Когда почту возим — он бригадиром надо мной ходит. Скоро оленей приведут — опять возить будем.

Договорилась с ним Ия Николаевна, что если наши оценщики опоздают, приедет этот ненец в верховья Сарамбая и перекинет нас на Талату.

Утром на другом берегу Коротайки против Спиридонова дома показалось многотысячное стадо оленей. Вскоре оттуда приехали ненцы и зашли к Спиридону пить чай. Оказалось, что это — оленеводы-колхозники из Печорской деревни Лыжа.

Весь день над Коротайкой рев да крик стоял: ненцы перегоняли оленей.

— Э-гей!.. Э-гей!.. — кричал один.

— Ого-го-оо! — помогал ему другой.

Олени подошли к самому берегу, сгрудились тут, а в воду им лезть нет охоты: и широка Коротайка, и все еще беспокойна.

Поплыли олени, когда начало темнеть. Через полчаса все многотысячное стадо разошлось по сопкам и по берегам Ярий-Ю, Париденя-Ю и неизвестной реки. Олени давно уже вылиняли, отдохнули за лето, накопили жиру. Приятно было на них смотреть: все они с молодыми рогами, круглые, гладкие, бархатистые — один к одному.

Вечером ненцы снова гостевали у Спиридона. От них мы узнали, что наши беглецы-олени пробежали от нас восемьсот верст и там, на берегу Карского моря, нашли стада родного колхоза имени Смидовича, где они летовали каждый год. Не могли только сказать нам

¹ Лонись — прошлый год.

ненцы, сколько оленей добежало. Утром ненцы пошли со стадами куда-то в шелонную сторону¹, а мы отправились вниз по Коротайке. Сарамбай был уже где-то близко. До половины пути к Сарамбаю нас провожали Спиридонова старуха, их сын Вася и Вася — бригадир ненцев-почтальонов. Здесь мы встретили речку с невеселым названием — Плохая. Начальница решила ее пройти, сколько сумеет. Как только наша лодка приткнулась в устье Плохой, начальница с Леонтьевым и Сашей отправились вверх по речке, а мы со Спиридоном, с его старухой и с двумя Васями разожгли костер и кипятим чайники.

Пришли наши странники.

— Ничего хорошего не видно, — говорит начальница.

— Вздумали уж тоже хорошее на Плохой искать.

На ночь Спиридонова старуха и два Васи вернулись домой.

— Не видать тебе меня, старуха, как своих ушей, — говорит Спиридон, — Поеду в раскат молодых искать.

— Кому ты, лысый, кроме меня, нужен? — говорит старуха.

А сама на прощанье целуется.

У коня бы не лысинка, так цены бы ему не было, — балагурит Спиридон. — Лысиной не попрекают. Сама знаешь: на хорошей крыше трава не растет.

Так под шутку и расстались...

А мы, на ночь глядя, отпихнулись шестами от Плохой и поехали на своих трех лодках на Сарамбай. Спиридон говорил, что осталось меньше десяти верст. По- переди других выплыла я из Плохой и вижу, что на Коротайке волна снова расходилась. Задумала я Коротайку переехать, думаю: там под тихую сторону попаду, ветер-бережник бить не будет. Только выплыла я на двойник², попала лодка на двойничную рассыпную волну,

¹ Шелонная сторона — юго-запад, среднее между «летней» и западной стороной.

² Двойник — стык фарватеров реки и ее притока.

вижу, лодчонку мою заливает, кинулся ко мне на своей лодке Сашка и обратно повернул: у него на добавок к грузу теперь Спиридон сидел, у Леонтьева в лодке — начальница, и лодки у них вровень с бортами стояли. Вижу, помощи ждать неоткуда. А у меня в руках одно кормовое весло. Принатужилась я, ныряла-ныряла моя лодка, хлебала-хлебала воду с гребней — прибилась к берегу. Отлила я воду и за другими следом поехала.

Вал прямо в прилук расходился: к берегу близко ехать — волна на берег выбрасывает. Далеко от берега ехать — зальет волной. Вот и едем мы, середину между берегом и большой волной выбираем. Недалеко от берега идут между застругами маленькие субойчики, мы их зашеечками зовем. Так и выбирали мы путь: и заужишь тут, и быстерь волной не сбило.

Но вот настоящие сутеминки пали на реку. Видим мы только край песчаного берега да воду без конца и края. Хорошо, что у Саши в лодке головастый кормщик Спиридон сидел. Говорит он нам:

— Тут сейчас до самого Сарамбая мель пойдет. Давайте дальше от берега.

И верно: далеконько мы от берега отбились, а везде веслом дно хватаем. Вот мы и за полверсты от берега, середина реки, а везде мель по-прежнему. Где веслом, где бродом гоним мы лодки. И видим — впереди нас на воде как снежуры набило. Когда подъехали мы к ней, поняли, что это пена. Сливалась она отовсюду и сбилась на большой мели. Пока через эту мель пробивались, и лодки, и сапоги у нас как мыльной пеной покрылись.

— Теперь налево, други, берите, — командует Спиридон.

Налево ехать было не просто. Сарамбай, как зверь, на волю вырвался. Быстерь била лодкам в носы и тащила назад. Не один пот со всех нас сошел, пока одолели мы быстерь и приткнулись к песку в самом устье Сарамбая. В темноте поставили мы палатку где-то в кустах. Чувствую я, что меня в жар кинуло, легла в чем была. А семья моя зажгла лампу, поела холодной гусятины, и долго еще я слышала, как Спиридон наговориться торопился. Видно, долго ему пришлось молчать: старуха не поймет — стара, а сын — недоросток.

А мне Спиридоновы речи запомнились.

— Вот, вы меня, други, — говорил Спиридон, — бывает, и осудите. Скажете: старик, а рот нараспашку, язык за плечо. А я все равно поговорю.

Теперешним умом своим я так думаю: больно баско мы перед войной зажили: долго спали, да скоро встали.

Круто наша земля рванулась. Экое ведь дело замыслили: всю землю на прямую свою дорогу перевести, такую жизнь устроить, что нашим отцам и во крепком сне не снилась: ни в денном, ни в ночном, ни в утреннем.

Бывало, дом строить задумаешь — и то годы вздыхаешь да годы деньги собираешь, да годы лес рубишь, да когда-никогда стены выводить возьмешься. Бывало и так, что мужик сваи под дом вкопает, а только внуки за крышу возьмутся. Пока крышей покроют, а фундамент подгнил.

А тут за какой дом-то взялись! Много ли пятилеток прошло, а мы уже и стены вывели, и под крышу подвели.

Деревня наша из веков богу молилась, с чортом водилась. Она в городе не хаживала, дороги платья не нашивала, красна золота не тягивала, серебра не волакивала. А колхозы и ее пристроили к сахарному кусу, к медовому питью. Жизнь мы жили — как обнову носили.

Как тундра ягодами, была богата радостью жизнь, и радость та, как ягода, густоналивна. И у всех была одна заповедь: живи, работай, на честь не пихайся, о чести не вались.

Оно конечно, старый век не враз с грядки валится, где и за лавку ухватится, чтобы до полу не упасть. Были такие, что и морщились: жить бы им да радоваться, а они распустят морщины по аршину. Крута езда не каждому в привычку; ну, да в коляске тряско, так дорога-то ведь не ежена.

Теперь только увидели, что мешкать-то нам и нельзя было...

Все пути запутать али все выправить — все это в силах человеческих. Вот Гитлер всем землям пути-дороги запутать решил. А Сталин с союзниками не дают путать, а хотят те пути еще устройней прежних выправить. На чьей стороне правда — всему миру видно. Небось и вы, други, смекаете, кто правдой-то владеет.

Леонтьев не вытерпел: любит он печорскую говорю¹, вот и подзадоривает Спиридона:

— Вот ты, Спиридон, про правду толкуешь. А что, по-твоему, правдой-то зовут? И где она зачин берет? И пошто ее прежде не видно было?

— Уж раз спросил, любезный, не обессудь, отвечу. Я и рад молчать, да не могу начать. А как раз о чем о чем, а о правде у меня не один год думано. Вот и слушай, что я надумал про этот случай.

Во времена досельные жил человек, как и вся земнородная тварь живет: темно и глухо. И башка космата, и сердце шерстью обросло. И вот в чьей-то косматой башке зародилась первая за всю бытность крохотная искорка помысла. Зажглась и не гаснет, как светляк в ночи.

Ровно само солнышко прислало к нам эту светлую думу с неба на землю: «Поди, мол, милая, посвети им, больно уж там черно да мерзопакостно».

И с той поры человек как солнце поцеловал...

Помолчал Спиридон, чтобы все разобрались, что к чему сказано, а потом снова речь ведет:

— И с той поры все, что есть в нас звериного, темного да глухого, не на жизнь, а на смерть с нашей светлой думой войну ведет.

Плоть наша сонна да нерадива. А дума наша светлая ей покоя не дает, зовет жизнь ухорашивать, чтобы человеку жить не стыдиться, чтобы внуки перед памятью дедов шапки сымали. Вот плоть и злится и ворчит, как медведь в берлоге, когда его до поры

¹ Говоря — речь.

расшевелишь. Она как пуповиной срослась со всем дремучим да звериным: где зверем пахнет, туда нашу плоть и волокет.

И вот она вконец расшевелилась да обозлилась. И выставила она против ума стража своего верного, что силой зовут. А страж тот туп да глуп, уму не люб.

И вот все бывальщины про дела человекьи про одно поют, про одно толкуют: как шло на земле ума и силы единоборство.

Крепки оба ворога — смотреть любо-дорого. Оба драться хотят — пух и перье летят. Чем больше ухватки — тем жарче схватки.

По схваткам этим судят люди, как время текет. Во всей человеческой бытности они как верстовые столбы стоят. И на каждой версте сколько жертв изложено. Где густо крестов да могил — мы вздыхаем. Где поменьше — радуемся.

Все горе человекье идет от этого извечного спора: кто будет верховодить, ум али сила. И спор этот до наших времен решен не был, пока люди в судьбу верили, ей покорялись да поклонялись, как я весь свой век.

Вот сменил я веру и на своей шкуре всю легкость спытал: ноги у меня теперь развязаны, рукам дело доступней, мозгам простор.

Так, видно, и у всех. Додумались люди, что не с неба звезды хватать, а на земле надо искать, что сами они своей судьбы хозяева, — сразу ум над силой перевес взял. И не где-нибудь за тридевять земель, а у нас, в Российской стороне.

Когда сила верховодила, на что она ни глянет — все рушит да изъянит. А под началом ума у ней золотые руки отросли. И все, к чему они притронутся, вверх идет.

И родился от этих двух вековечных ворогов долгожданный ребенок — Правда. По-моему, это и есть настоящий бог, которого люди испокон веку ждуют.

— Да ведь у тебя дома-то иконы стоят, — не унимается Леонтьев. — В двух богов сразу, что ли, веруешь?

— Это старухина забава, — говорит Спиридон.— Я нонче в себя стал верить. Правда-то ведь во мне.

Теперь, други, светлым думам у нас житуха вольготная: ни помехи, ни утеснения. Жизнь наша теперь умом высветлена. По нашей дороге нас ведет наш ум. Сила уму впоперечку не идет, а ему же и служит, его же и охраняет. А над путем-дорогой нашей светит наша звезда путеводная — Правда.

— Умен ты, Спиридон, — говорит Леонтьев, он всю его речь записал.

— А ты думал, что ум-то у меня чорт съел?

— Красно ты говоришь: как бисером шьешь...

— Лыком по парче не шьют.

И заказывает ему Леонтьев беречь свои мысли, походя их не разбрасывать, а копить да растить и к делу да к месту прикладывать.

— Ты, — говорит, — и так разменял миллион на гривенники и рассыпал.

— Да ведь человек-то я не письменный, — чешет лысину Спиридон. — Проклятые руки не умеют писать, а глаза — читать, так вот весь свой век по локоть в грязи и брожу.

И первый раз я услышала, как Спиридон вздохнул.

Не вытерпела я, поднялась.

— Ты, — говорю, — черными словами руки не грязни, худой славы на них не наводи. К рукам грязь не льнет. Грязь вымоется, а худая слава не выведется. Ты вот чистюлькой хочешь быть, а что на человека чистоту наводит? Руки... Ты вот письменным человеком быть хотел бы. А чем бы стал перо водить? Опять же руками. Негоже ты их чернишь.

И про силу ты зряшнее плетешь: плел-плел, а кошеля не вышло. Откуда ты взял, что сила уму люба не была? С чего это она против ума боролась?

Никогда в нашей силе никакого худа не было, всегда она была красой покрыта. Силой люди леса расчистили, поля распахали, сады наладили, городов настроили. Ум да сметка без силы тоже никуда не денутся.

А уж коли где-нибудь сила чего и наковеркала, там, считай, умишко подкачал. Ум, он давно над силой верх держит, в ту и в другую сторону ее поворачивает: значит, он и ответчик. А правильный ум по правильной дороге и силу водит. Где ум — к месту, там и сила — к делу: два добра вместе один совет советуют, одно дело делают.

А ни тот, ни другой мимо рук не пройдет. Что ум придумает, а без силы у него ничего не выходит. А сила к делу идет опять через руки. Рука крепкая да меткая на какое дело накинется, так не сбрыдет, захватится, так не отпустится, пока до завершенья дело доведет.

Руки у человека во всю бытность золотые были, никакое добро из них не выпадывало и сквозь пальцы не пропускалось. Коли в глазах не двоится, так и в руках все родится: и лыком они плетут, и шелком шьют, и молотом бьют, и золото вьют. Всю красу и всю славу руки сделали, сила на ноги поставила, ум в дорогу проводил.

Спиридон только кряхтел. Рот было открыл, да слова не приготовил, и снова закрыл. Саша с Леонтьевым переглядываются да над Спиридоном посмеиваются.

А Ия Николаевна спрашивает:

— Романовна! А вот про правду-то Спиридон ведь правильно сказал?..

— И насчет правды он наврал, — говорю.

— Как наврал? — зашумели все четверо.

А я им отвечаю, будто давным-давно знаю. А сама тут же и придумываю:

— Не теперь, — говорю, — наша правда народилась. Думается мне, что не один век две правды по земле бродило. Одну правду богатеи правдой считали, а мы ее кривдой называли. Родилась она от лукавого ума да от бездельной силы.

А у простых людей, трудников, ум да сила всегда в согласии жили. Вот и родилась у них настоящая, наша трудовая Правда, наша звезда путеводная. И прежде любил ее работный народ, про нее песни пел и сказки складывал да сказывал.

Вот они-то — Правда да Кривда — и воевали меж собой. И за каждую ум стоял, и за каждую сила заступалась: ум — на ум и сила на силу шли. И вот у нас Правда Кривду побила.

По другим землям Кривда и сейчас живет-красуется, да только и там не долог ее век: обеими ногами край могилы стоит.

— Ну, землячка, — говорит Спиридон, — отделала ты меня — живого места не оставила. Весь век я растил дерево, а ты дунула — и все листья облетело.

— Новое вырастет, — говорю.

Со спорами да разговорами мы под самое утро уснули.

6

Разбудил нас не ранним утром Спиридон.

— Эй, вы, соннули! Не время спать, пора вставать. Солнце светило по-осеннему. Осветило оно Сарамбай, все его крутые бережки, все острые носки, все золотые пески. В первый раз мы тогда увидели, что на тундру упала осень, ясная, тихая, задумчивая. По берегам реки слегла перерослая трава-бережина. Потемнел лист-подморошечник. На болотах кисли перестоявшие грибы. Где-то за береговым кряжем лебеди кукали.

Стояли мы впятером и любовались. Спиридон показывает нам на реку:

— Смотрите-ко, гости морские пожаловали.

Как раз против устья Сарамбая плыло стадо белух. Плывут они, белые, горбатые, вода через них переливается. На спинах у трех белух сидели детеныши.

— Море близко, — говорит Спиридон. — Сотня верст до моря не наберется.

Саша хотел было стрелять белух. Спиридон отвел дуло карабина и говорит:

— Это, паренек, не по закону. Зря добро загубишь. Утонет белуха, — ни тебе пользы, ни нам радости.

Вытащили мы одну лодку на берег да тут и оставили: везти вверх третью лодку нам было неподсильно.

Кто с чем, а Леонтьев по берегу ходит да на воду смотрит. Сарамбай, видно, после дождей разъярился, быстерь в реке огненная. Вода ключом кипит и круги вертит во все стороны.

— Ох, и хватанем мы горького до слез, — говорит он Сашке. — Это тебе не Коротайка. Там чем быстерь круче, тем нам веселей. Все плакались, что тихо несет, а здесь ты не рад будешь, что и реки текут.

Встал он на корму в свою большеносую лодку, взял в руки свой шест, немногим хорея покорооче, и показывает Саше, как вести лодку против быстери.

Долго не давалась эта наука Саше. Вроде он и по словам Леонтьева все делает, а лодка его не слушает. Толкнется он вдоль берега раз-другой, а там и неладица начнется: то нос быстерью от берега откинёт, то шест сменить опоздает, лодка остановится, и Саша с большой натугой еле-еле ее с места сдвинет.

А Спиридон тут как тут:

— Эх, паренек, сила без сноровки только мучит. К силе нужна еще хватка и смыселок.

Кое-как, с грехом пополам, вперед поплыли: не парохода ждать. Леонтьев ведет лодку Большого Носа, как в игру играет, а Саша через силу да через натугу за ним тянется и мне моей же поговоркой отзывается:

— Не умеючи, так потеючи.

В тот день лодка прошла не больше пяти километров. А Ия Николаевна со мной да со Спиридоном за весь день, бывает, и пятьдесят обегали.

Где какую ручьевинку встретим — вверх по ней идем: все осыпи оглядим, все укатинки оползаем, все сопочки обшарим, все камушки ощупаем, обнюхаем, оближем.

— Мы с тобой ровно и понимаем что, — говорю я Спиридону.

А Спиридон с боку на бок головой качает:

— В карты играем, козырей не знаем.

А сам все норовит вперед нас забежать. Я его оговариваю:

— Ты чего впереди начальницы, впереди иглы, нитка, суешься?

— А как не соваться-то? Глядишь, первый нефть найду. Говорят: переднему зверек, а заднему следок достается.

Вечером, когда сошлись мы в палатке с нашими бурлаками, все заохали: у нас ноги болят, у них — руки.

— Вот что, — говорит Ия Николаевна Леонтьеву и Саше. — Пока руки у вас шевелятся, надо плыть вперед. Руки откажут — ногами пойдём: котомки на спины, и опять вперед. Той порой, может быть, олени подойдут, тогда поедем.

Никто не спорил: каждый знал, за что брался, когда в тундру шел.

На восход зари выпал мелкий, частый дождь. А под дождь хорошо спится. Пошумливает он о палатку — будто тебе кто-то шепотом на ухо разговор ведет. Поднялись на этот раз позже обычного.

Мученики наши снова в лодку садятся, а я за начальницей да за Спиридоном плетусь: свое дело знаю, берег наблюдаю.

Итти вдоль берега тоже не больно сладко: то в кусты такие заскочишь, что не знаешь, как оттуда и выцарапаться; то в глину забредешь и сапоги там оставишь, а пока достанешь — вся в ней упачкаешься; то на ручеек выйдешь, да пока брод найдешь — не одну версту ногами вымесишь.

Зовет нас с начальницей Спиридон и показывает на берег.

— Волчья свадьба, — говорит, — здесь была.

Сырой песок вдоль и поперек был разрисован следами волчьих лап. Как большие печати наставили на песке волки. Кое-где можно было заприметить и следы волчицы, круглые, как следы большой собаки.

— Сотня их, что ли, тут свадьбу праздновала? — спрашивает Спиридона Ия Николаевна. — У людей и то столько гостей на свадьбе не бывает.

— Зачем сотня, — говорит Спиридон. — Одна волчица и пять-шесть волков. И не гости это, а все женихи. И до той поры они догрызутся, пока самый здоровый всем шкуры продырявит и прочь отгонит.

Спиридон не врал: дождем к песку прибило клочья волчьей шерсти.

— Не приведи бог эту свадьбу человеку встретить, — говорил Спиридон, — загрызут. Бесятся они, дьяволы, в эту пору. Укусит такой — пропадешь.

Хоть мы и не знали, куда подалась волчья свадьба, а итти надо. Шагает начальница и сквозь кусты по берегу, и в стороны по ручьям, а мы за ней. Разбредемся неподалеку, чтобы голос слышно было, побродим, посмотрим и опять сходимся. Я наловчилась ракушки искать, а Спиридон все какой-нибудь камушек тащит, то ноздреватые, то с рубежками, то завитушками. А я несу камни с ракушками. Ракушки были разные: и колечки, и коробочки, и петушки, и винтовые, как улитки, только большие. Ия Николаевна одни в сторону мечет, другие в бумажку завернет, надпись надпишет и в мешочек завяжет — для Москвы. И опять вперед бежит.

А вечером снова у нас охи да вздохи, да крепкий сон. Так шли дни за днями: мы по берегам, ручьям да сопкам версты просчитывали, а Леонтьев с Сашей реку промеривали да с быстерью воевали. Как ни вила быстерь, как ни била лодкам в нос, как ни упрямяничала, а наши бурлаки, видно, решили ее переупрямить. Когда пять верст, а когда и три проплывут за день, а все вперед пробиваются. В ином месте вода не хуже, чем весной играет, кипит, переливается, а шесты у наших кормщиков знай над головами помахивают и лодки вверх, как парусом, тащат.

— Завлеклись ребята, распотешились, — говорит Спиридон, — лодки ведут — как водку пьют: одну рюмку пьют, другой хочется.

А я ему отвечаю:

— Железо в огне закалку берет.

Беда ни поры, ни времени не спрашивает. Численные дни до холодов остались, а пришел день — и к нам беда заглянула.

Заболела у Саши не по-доброму раненая рука. Сначала вокруг раны покраснело, как огонек в кости загорелся. Парень руку поднять не может. Пришлось в воркутинскую лодку посадить Спиридона, а нам с начальницей бечевой его тянуть. Иногда в лямку впрягался и Саша.

— Руки, — говорит, — сдали, так хребет выдюжит.

Над тундрой стоял листопад. Воздух теплый, а сырой. Солнце не дождит, не сушит, а меж делами греет землю. И душно, и тепло: в такую погоду и человеку, и зверю, и птице, и дереву спать хочется. Лист на кустах сжелтел, как солома. А в листопад преет лист на деревьях до той поры, пока с веток без ветра упадет. Столь густо его на землю нападало, как кошенины¹ под кустом.

В те дни, когда мы Сашу выручали, начальница одна ходила по берегам и по тундре.

То у ней на уме были сон да еда, а сейчас — счет да выглядка. В тундре не всякий мужик с ружьем в одиночку пойдет, а начальница одна, без ружья, идет — не страшится. Берегом она идет, на осыпь глянет и как книгу читает: что и когда здесь было, что от тех веков осталось и какую полезность здесь человек откопать может.

А ночью проснешься и видишь: сидит начальница, над картой наклонилась и пальцем лоб сверлит.

Глядя на Сашино нездоровье, Ия Николаевна сперва было приуныла, а потом укрепилась и говорит:

— Сама лодку потяну, а куда надо доедем.

¹ Кошенина — сено в покосе.

Той порой у Саши рука пухнуть начала.

Километрах в сорока от устья Сарамбая встали мы на долгую стоянку: начальнице нужно было пройти вдоль какой-то речки, что выбегла здесь в Сарамбай, и дойти до озер, из которых она начало брала. Саша лежал в палатке и охал.

Подойду я к нему, подсяду у изголовья, спрашиваю:

— Тяжко, Сашенька?

— Не говори, Романовна, тяжко.

— Перенатужил ты, — говорю, — свою руку. Кто его знал, что у нас олени сбегут и что вам с Николаем Павловичем за все стадо отдуваться придется.

Только я оленей помянула, а они легки на помине. Леонтьев еще в палатку не успел пролезть, а во все горло орет:

— Олени пришли!

Выскочили мы все, даже Саша поднялся — и глазам своим не верим: на другом берегу Сарамбая едут с угора к реке две упряжки. На одной сидит Петря, на другой Михайло. Леонтьев навстречу им на лодке выехал.

Когда пристали они к нашему берегу, расцеловались мы с ними, как с родными, не знаем, как их спочатить, куда приводить, чем угощать, о чем спрашивать. Пообедали они с нами, а за чаем и сказывать начали.

— Иван не пришел, — говорит Петря. — Видно, знает, что я ему бока хореем обломал бы. Это все он, черный дьявол, подстроил. Кабы не он — не убежали бы олешки.

— Олешки до колхоза добежали, — торопится сказать Михайло.

— Все? — спрашиваем мы в один голос.

— Три десятка не дошло.

— Иван тут, опять Иван виноват, — ругается Петря. — Продал он их где-нибудь: из-за этого и стадо разгонял.

— На чем же вы приехали? — спрашивает их Ия Николаевна.

— Вы нас ведь не без оленей оставили, — отвечает Петря. — Только трое сдохло, остальных всех отходил.

Нарты снова сколотил, а когда все сроки вышли, съездил за Михайлой, и вот приехали.

И Саша голос подает:

— Комаров-то хоть теперь поменьше стало.

— Комар уж три недели как на убыль пошел, — говорит Спиридон. — Каждый день по решетку комаров убывало.

Обратно к чуму засобирались, — пригласил нас к себе Михайло в гости. Татьяна звала, — говорит, — сама осталась — мясо жарить.

Саше ехать болезнь помешала, начальница работой отговорилась, поехала я со Спиридоном и Леонтьевым. Мы со Спиридоном за настоящих седоков ехали, а Леонтьев от саней к саням по очереди перебегал, на полозья вставал и нам за спины держался.

Оленей мы не узнали. Гладкие, бархатистые, рогастые, ретивые, они побежали до чума Михайлы — мы и оглянуться не успели.

Чум от нашей палатки километрах в пяти. С радостью нас встретила Татьяна. Митя даже и не признал нас. Забыл, видно.

Угостила нас Татьяна жареной олениной, напоила еще раз чаем.

Михайлов чум стоял на неширокой хребтовинке. Отсюда глазам открывался широкий вид на тундру. Неподалеку петлял да кривулял Сарамбай, как «мыслете» выписывал. Докуда глаз видел — везде озера, как зеркала блестели. На ближних озерах садились и подымались утки. Петря не вытерпел, попросил у Леонтьева карабин и пошел на охоту. А мы стояли как вкопанные и хотели забрать глазами всю тундру, всю ее ширину, всю ее осеннюю красу.

В стороне под облаком кружил ястреб: облетит круг, остановится, бьет крыльями часто-часто, держится на одном месте, как на нитке подвешен, и вскрикивает изредка-редко и отрывчиво.

— Гусей высматривает, — говорит Спиридон. — Где гуси, там и ястреб, — первая примета.

И снова мы стоим, смотрим и молчим. И вся тундра молчит: ястреб улетел, а утки еще с Ивана-дня голос терять начали, а нынче и вовсе онемели.

— Краса неоглядная, — шепчет Спиридон.

И лицо у него — светлое да ясное. И никакого у него лукавства не видно, — все чертенята из глаз спрятались.

Петря принес целый ворох уток, больше всего валеев да крохалей.

— Это крохали все? — спрашивает Леонтьев.

— Нет, — говорю, — вот это крохали, а это Михайловы однофамильцы — валеи. Они крохалям за родных братьев сойдут, только мясо уж не сравнить.

— Которые лучше?

— Крохали, конечно.

— А как их отличить?

— Кто валея не понимает, ног да головы не знает, для тех он за крохалю сойдет. Голова у него — и носом, и перьем — как у гагары: перье черное, нос длинный и острый, а шея синеватая с мелким, как пух, перьем. Ноги у валея, как у гагары, — как тычки заткнуты в самый зад, а не под брюхом, как у других уток. Ни гагара, ни валеи из-за этого по земле не ходят, а ползают: крыльем да ножонками увечными перебирают и ползут.

Был у нас в Нижнепечорье один молодец по прозвищу Совесть. Так он возьмет, у валеев головы да ноги обсекет и продает бабам за крохалей. А у крохалей ноги как у всех уток, а нос короче, чем у валея, и с боков желтоватый...

Теперь снова мы погрузили все свои пожитки с лодок на нарты и поехали оленями. Воркутинская лодка — и та опять на санях поплыла. Только Леонтьев вел водной дорогой лодку Большого Носа и вез в ней Сашу. На нартах Саша ехать уже не мог: там так трясет, что и здоровым рукам больно.

За два дня мы продвинулись на оленях далеконочко. Леонтьев на пустой лодке с Сашей тоже не отставал. Ия Николаевна со Спиридоном успевали и у Сарамбая берега оглядеть, и образцы взять.

По одной речке — звали ее Хорова-Юр-се — мы с начальницей два дня ходили. Дикими кустами шубницы и мелкоярника продирались мы вдоль этой речки, пока выбрались ко гладким веселым местам, с сопками и настоящим разлогом возле речки.

Встретили мы тут и пески, и камни, и щелья¹, насобирали много образцов — каждому по ноше досталось.

Когда мы вернулись к своей палатке, Саша был вовсе плох. Уже сутки как его жар палил.

Леонтьев нам по секрету от Саши говорит:

— Надо его куда-то везти. Если еще с неделю не прорвет — операция нужна будет, а то пропадет парень.

— Куда, как не в Янгарей, — говорит Спиридон. — Тут до него верст полтораста. Там хоть медпункт и фельдшерица есть.

Леонтьев долго не думал, договорился с начальницей, уложил в лодку Сашу в спальном мешке, взял с собой хлеб и карабин, махнул шестом — да столько мы их и видели.

И так тоскливо мне стало, что я всю ночь проплакала: крепко всех нас работа сдружила.

Ночью, слышу я, дождь пошел. Поднялась, вижу: Ия Николаевна разбирает вчерашние образцы, заворачивает их в бумагу и что-то пишет в своей полевой книжке.

¹ Щелья — отвесные осыпи.

— Не спится, Романовна? — спрашивает.

— Дождь да темень, — говорю. — Где-то наши ясны соколы ночь проведут: ни от ветра им затишья, ни от дождя затулья. Лето целое промаялись, а тут им маята еще прежней похуже.

— Справятся и с этой, — говорит Ия Николаевна. — Ребята упрямые.

Утром мы вышли из палатки, видим: дождь прошел, тундра посветлела, как в бане вымылась, а с кустов почти весь лист пропал.

— Лист дождем растит, дождем и снимает, — говорит Спиридон.

В последнее время Спиридон ходил задумчивый и втрое меньше прежнего говорил. Как-то я его и спрашиваю:

— Что с тобой, Спиридон, об женке, что ли, затосковал?

— Нет, землячка, зачем дорожному человеку тоску за плечами таскать? Другим я занят. Дума моя вольная по всему белу свету летает. Дорога для думы — все равно что поле для ржи. В дороге бездумную голову и то не обходит дума. Упадет она туда, как зерно в землю, оживет и, как озимь из-под снега, расти начнет: растет — кустистая и вырастет — семенная.

— Об чем твоя дума-то?

— Всегдашнее у меня. Как только из дому вышел да по белу свету отправился, падает мне в голову, что и все жите-то мое — такая же путь-дорога. И видно мне здесь, на вольном ветру: по доброму пути жизнь моя катится али на перепутье остановилась. Вот мне и есть о чем подумать.

Не сговаривались мы со Спиридоном, а об одном думали.

Наша путь-дорога не кончилась. Без наших лодочников поехали мы дальше. До поздней ночи ехали мы и никак не могли найти ягельного места, где бы оленей покормить. Снова Петря едет передом: встанет на нарты, долгий свой хорей кверху

подымет, оглядывает тундру своими продолговатыми глазами, пошевеливает рыжими усами — да как гаркнет:

— Э-гей!..

К полуночи доехали мы до ягельного места и разбили новую стоянку.

Ночью к нашему стаду приходил волк. Олени сгрудились в кучу, выставили рога во все стороны. Зады у них трясутся, а рога драться готовы. Дежурил в ту ночь Михайло. И такую он стрельбу открыл, что мы ему голос подаем, боимся, как бы он всех нас в темноте не перестрелял.

На новой стоянке стояли мы неделю. Начальница теперь не ходила в маршруты, а ездила с Михайлой и Спиридоном. В Сарамбай недалеко от нас впадала большая речка Нярмей-Яга. Вот она и полюбилась Ии Николаевне. Каждый день утром они садились на нарты и уезжали, а приезжали только вечером.

Приехал к нам свежий человек, какой-то ненец.

Хватились я — чем гостя угощать, а ни рыбы, ни гусей у нас нету, одни консервы остались. Начальница к той поре уже дома была.

— Вот, — говорю, — беда: гусь есть, так гостя нету, гость есть, так гуся нету.

— Не будь гостю припасен, будь гостю рад, — говорит Спиридон.

А гость это и услышал.

— Что у вас? — спрашивает.

— Да вот, — говорю, — болью болели, все хлебы поели: гусей не осталось, и рыбы я сегодня не наловила.

Ни слова не говоря, ненец пошел к своим саням и принес оттуда десять сигов, каждый больше килограмма. И от платы отказался. Не хотела я рыбу без денег брать, да Спиридон меня подталкивает:

— Бери, Романовна! Дающая рука устанет, берущая — никогда.

Звали гостя Васька Нелюку. Нелюку — значит по-ненецки «прошлогодний олений теленок». А Васька на теленка никак не был похож, скорей на кормленного быка он смахивал: сам крупный, живот большой, лицо одутловатое, нос между щек как в яме сидит, глаза едва видно, губы отвесистые, отвалистые. Рассказал он нам, что километрах в семи от нас стоят тремя чумами последние одиноличники по всей Большеземельской тундре, там и его чум, в котором живет пять человек из его семьи. По его рассказам, живут они не худо.

— Приезжайте, посмотрите.

И показал, куда ехать.

Когда Васька уезжать собирался, увидел он у начальницы два больших клубка шпагата.

— Дай-ка один, — говорит он Ии Николаевне. — Беда эти нитки нужно, плавки к сеткам вязать.

Начальница не знает, что и делать.

— Отдай, — говорит Спиридон. — Чужу бороду хочешь драть, надо и свою подставлять. Рыбу взяла — нитки отдай.

Взял Васька шпагат и уехал. А назавтра упросила я Ию Николаевну поехать к Ваське.

— Надо же, — говорю, — посмотреть, как последние одиноличники живут. На год опоздаем — никогда больше не увидим: в колхоз зайдут.

Ия Николаевна сначала отправила Петрю на Коротайку — Сашу и Леонтьева проведать:

— Поезжай, — говорит, — в Тундо-Юнко, Леонтьев обещал там завтра быть.

И показывает ему по карте, где Тундо-Юнко. Посмотрел Петря вместе с Михайлой, потолковали между собой, и Петря отправился в Тундо-Юнко, в котором никогда не бывал. А до него сотня верст.

Я свозила начальницу к Ваське. Переехали мы через Сарамбай, поднялись на кряж, а невдолге и чумы увидели. Возле чумов собак бегало больше, чем людей в чумах.

Стоим мы возле нарт, а я хорею от собак отмахиваюсь. Пока Васька из чума не вышел да собак не разогнал, так мы шагу и не ступили. Провел нас Васька к себе в чум. Только я зашла в чум, огляделась вокруг — сразу говорю начальнице потихоньку:

— Ну, это не «Кара-Харбей».

В чуме грязи толсторосло: и на латах, и на посуде, и на ребятишках. Ребята ползают по латам, бродят в пепле очага, а между ними собаки вьются, котлы вылизывают. Сварила нам Васькина женка ведерный котел мяса, нарезал Васька сырой рыбы, угощают нас. Видит Ия Николаевна, что после собак котел не мыли, что рыба вместо блюда на грязной доске подана, и отказывается.

— Я поехала — только что поела.

А я сажусь и начальнице велю:

— Хочешь не хочешь, а честь порядка просит: надо садиться.

И самой мне глядеть неохота, не только есть. Вижу я, что ест Васька за троих, и сыновья за ним тянутся. Съели они рыбу, выхлебали щи, съели вареное мясо. От рыбки щипок, да от щей хлебок, да мяска крошку, защуря глаза, в рот понесу, да насили проглону, — вот все мое и угощение. А Ия Николаевна на месте вертится да ехать торопит.

— Приехали, так сиди, — говорю. — Да ешь побольше. А то ославят тебя — по всей тундре проходу не будет.

Принес Васька напоследок сырого мяса. Едят они в три горла: кусок за конец в зубы захватят, а потом ножиком возле самых губ отрежут да, не жуя, и глотают. Отказалась я от мяса, а хозяйка чай на столик ставит.

— От чая я не откажусь, — говорит Ия Николаевна.

А не видела она того, что хозяйка не настоящий чай заваривала, а пакулу — особый гриб, он на березах нарастает. По цвету этот чай и красивый, а по вкусу ничем

не слаще дегтя. Я такой чай за большие деньги не выпью. Поставила хозяйка чашку перед начальницей, и не можно разобрать — деревянная это чашка али каменная — столь толсто на ней грязи. Хлебнула начальница глоток и чашку отставила.

Потом одолела чашку, да тут же, как ошпаренная, — из чума вон и на нарты.

7

Задумала я в бане вымыться и начальницу вымыть: до той поры мы одним купаньем в реках пробавлялись. Нажгла я с утра камня на костре, а когда костер прогорел, натянула над горячим камнем палатку. Через минуту в палатке стало жарко, как в бане. На камни водой плеснешь, и жару, и пару — хоть отбавляй. Одеваемся, Ия Николаевна меня благодарит:

— Спасибо, Романовна. Не думала я, что в тундре в жаркой бане вымоюсь.

Только успела она это сказать, слышим — за палаткой Петрин колокольчик побрякивает.

— Петря приехал! — обе кричим.

И не знаем мы: один ли он приехал, Леонтьева ли привез. А самое главное — не знаем, что с Сашей.

Только мы оделись, в палатку вошел Леонтьев, а за ним и Петря, и Михайло, и Спиридон.

Мы с Ией Николаевной одно хотим знать:

— Что с Сашей?

Нахмурился Леонтьев:

— Саша вовсе плох. Бомбил я радиogramмами и в Янгарей, и в Нарьян-Мар, и в Амдерму, и в Воркуту, и в Архангельск: мол, нужен самолет с врачом, иначе человек погибнет. Ни один чорт не откликнулся.

— А ты, парень, не сердчай, — говорит Спиридон. — Забыл, что ли, в какие дни живем? На фронте-то сейчас ежедённо, небось, тысячи гибнут. Самолет-то туда послать — он, бывает, тысячи людей спасет.

И Ия Николаевна расстроилась, и Михайло не знает, что сказать: он Сашу тоже очень любил. Когда его увозил Леонтьев, Михайло подошел к лодке, вынул из кармана новенькую трубку мамонтовой кости и сунул Саше.

— Сам резал, — говорит.

Догадался, что Саше тяжело одной рукой папироски крутить, вот и придумал.

Посидели мы всей осиротевшей семьей, покручинились. И вдруг Ия Николаевна разозлилась на Леонтьева.

— По-вашему, — кричит, — хорошо товарища в таком положении в каком-то медвежьем углу бросать? Стыдно...

Только у Петри в продолговатых глазах смешинка блестит. Косит он глазом на щель в палатке, а из той щели, вижу, чей-то глаз выглядывает. Прыгнула я из палатки и у Сашки на шее повесилась: стоит он, жив-здрав молодец, веселый и рукой шевелит. Только вижу — рядом с ним стоит какая-то девушка. Подводит он ее и говорит:

— Моя сестра.

— Какая сестра?

— Медицинская.

Здоровается она со мной и себя называет:

— Валя Барсукова.

— Ну, братец, заводи сестрицу в наши хоромы, — говорю я Саше.

Под шум и гогот, под ахи и охи зашел Саша в палатку. Насмотрелись на него, а потом Леонтьева к ответу потребовали.

— Давайте буду спорядку сказывать. Отсюда по воде нас как на крыльях несло.

Быстерь сумасшедшая да шестом толкаюсь — километров тридцать в час по Сарамбаю плыли. Когда стемнело — мимо устья прошли. В Коротайку попали, дождь пошел. Темень: в берег ткнешься, тогда и узнаешь, что тут берег. Только от него прочь отплыть торопишься: слышали мы, как в одном месте такая глыба в воду рухнула, что волной лодку раскачало. Наверно, стоячий берег рекой подмыло, вот он и оборвался.

Рассветать стало — нам опять не радость: такой упал туман — как в молоке плаваем. И опять ничего не видно: не то по воде, не то по облакам лодку несет. Туман, видим, на воду садится. На берегах верхушки сопок показались. И вот туман пропал, только над самой водой редкие облачки стелются. И видим мы, что Коротайка течет в высоких горяных берегах, а берега кустами заросли.

Около полудня увидели мы избу в Тундо-Юнко. И два чума рядом с избой. По ручью подъехали к самой избе, поели, чаю попили, поговорили. Узнали мы, что тут ловит рыбу бригада из Янгарейского колхоза и что собираются они в тот же день рыбу в Янгарей везти. Вот мы, чтобы свою лодку туда и обратно не гонять, и присватались к ним.

Привезли они нас в Янгарей — мы сразу в медицинский пункт.

— Где тут фельдшерица? — спрашиваем.

А нас вот эта девушка встречает.

— Никакой, — говорит, — здесь фельдшерицы нет.

— А кто есть?

— Я.

— А кто вы?

— Медицинская сестра.

— Осмотрите, — говорю, — вот этого больного.

Осмотреть-то она осмотрела, а лечить отказывается.

— У меня, — говорит, — все лекарства вышли, а с новыми морской пароход еще не пришел.

Трое суток прокоротали, чувствую, что Саша дальше может не выдержать. А он и не скрывает, прямо грозит:

— Или застрелюсь, — говорит, — или возьму бритву али ножик и сам себе руку распорю.

И верю я ему, что он так и сделает. Были у меня в руке флегмоны и в госпитале, и на Памире, знакома мне эта боль. Гной и кости ломает, и мясо разъедает, и кожу рвет, надо большую силу, чтобы эту боль перенести.

Уговариваю я Сашу, как могу, а сам свои меры принимаю. Карабин я спрятал на чердаке. Бритвы, ножи, ножницы и вилки хозяйка под замок запирала.

А главную свою надежду я на девушек положил. Обошел я девушек-колхозниц, двух учительниц, счетовода, инструкторшу из машинно-рыболовной станции и подговорил их:

«Выручайте, — говорю, — меня, спасайте моего товарища. Я больше не выдержу, свалюсь сейчас и усну. А Саша без надзора может какую-нибудь глупость сделать. Так большая к вам просьба: ходите вы к нам в гости по очереди. Забавляйте вы его, чем сумеете, играйте, пойте, сказки сказывайте, коли это не поможет — ухаживайте для виду, если в самом деле не понравится, письма ему пишите, ревнуйте друг к другу, но парня сохраните. Может быть, еще и кому-нибудь из вас пригодится».

А Вася со своей подругой-зоотехником еще раньше были подговорены.

Согласились девушки, и я после этого спокойно уснул на целые сутки. Через сутки просыпаюсь и не узнаю той комнаты, в которой мы жили. Разукрасили ее девушки, как на праздник. А в комнате настоящая вечерка. На столе патефон стоит, и пластинки со всего Янгарея стащены. Одна девушка на балалайке играет, остальные по очереди частушки поют: кому-что в голову забредет, а все больше озорное да смешное.

Так еще трое суток протянули. День и ночь около Саши дежурили девушки, помогали ему с болезнью бороться. И видим мы, что перестали ему помогать все хитрости девичьи, и песни, и шутки. И я тоже хочу что-нибудь сморозить, а гляну на Сашу — и рот у меня не раскрывается. Пришлось и мне смолкнуть. У человека сорок один градус, так ему шутки за издевку покажутся.

А кожа над раной, вижу, у него рдеет. И одним я его утешаю:

— Прорвет, Сашенька... Скоро прорвет. Обязательно прорвет.

Седьмая ночь была самая тяжелая. Саша потерял сознание. То он бредить начнет, то очнется, вскочит и карабин требует. Повалю я его силком, а он плачет и руки себе ломает. Глядя на него, и я плачу.

Вот один раз Саша заложил руки да как нажмет на больную — гной и прорвал кожу. Саша сам испугался.

— Потекло, — говорит.

И пока мы хлопотали, видим — у Саши голова набок свалилась и на подушку упала: он спал.

Еще через три дня мы с Сашей уже ехали в Тундо-Юнко, а еще через два дня дождались Петрю. И чтобы больше в Янгарею не ездить, попросили Валю с нами ехать: медицинский пункт теперь у нас в отряде.

8

— Ну, что же, давайте опять одной семьей жить, — говорю я. — Не диво делиться, диво — складываться. А лодка-то у вас где?

— Бросили в Тундо-Юнко.

Спиридону это и не любо. Ворчит:

— С умом была деревенька наживана, да без ума проживана.

Валя с первого взгляда мне поглянулась. Всем она взяла: и плечом, и лицом, и молодой своей порой. Была она стройная, тончаявая, как ивовая ветка, только от ветра не гнулась. Заплетет она свои светло-русые рассыпанные волосы в трубчатые косы, косами, как венком, голову обовьет, а над бровями да над щеками золотые природные кудерышки разметаны, из колечка в колечко извиваются. Бело-розовое лицо — как картинка писаная: глаза голубые, задумчивые, щеки наливные, носик сухонький с тонким переносьем, ротик ужимистый. Засмеется Валя беспечальным, рассыпчатым девьим смехом — между алых губ ровный ряд зубов — полон дворец белых овец — обозначится.

Одета она в приглядный цветной сарафанчик: по подолу он — раструбистый, по плечам — покройистый, по грудям — перехватистый, посредине — пережимистый. И так он пристал к ней — как прикипел. И вся она — как лазорев цвет на рассвете.

— В каком это лугу ты выросла? Под каким солнцем вызрела? — спрашиваю я Валю.

С самого приезда за Валею начал ухаживать Саша.

Спиридон — и тот на Валю зарился. Хлопнет ее по плечу и скажет:

— Эх, Валька! Сбросить бы мне годов сорок — не долго бы ты в девушках проходила. Голыми руками взял бы. Слов упросных да уговорных у меня в ту пору хватало. Сам красовитой был, издалека молодца девки в гости звали. Плясуном первейшим считали: прялицу плясать пойду — каждое слово не только голосом, каблуком отчеканиваю. Запою — умные заплачут, бездушные вовсе с ума сойдут.

— Я и не поглядела бы на тебя, — смеется Валя.

— Присушил бы. Нашептал бы да нароптал бы тайных да заповедных слов, — сама пришла бы.

— Ты, небось, и заговоров-то не знаешь? — подзадоривает Спиридона Леонтьев.

— На присуху-то? Как не знать. Читать начну, так и теперь любая девка-кряля зашевелится.

Выкосил Спиридон глаза, не по-доброму натянул на них брови, скрипнул зубами и наговаривает:

«Два раза проклят, проклят враг-супостат, послужи мне на вечерней заре, в злые часы, минуты, секунды, чтобы раба божья Валентина не могла ни есть, ни пить, ни спать, ни гулять без раба божия Спиридона. Помешайся, ум-разум, разгорись, жалость сердечна, разболись, сердце ретиво, раскипись, кровь горяча, у рабы божьей Валентины, жалела бы она и болела, тосковала и горевала, все бы думала о рабе божьем Спиридоне. Звери полевые, ходите и гуляйте по чистому полю. По черной книжке, по седьмой строке, я делаю жертву из трех морей, из трех океанов. На восьмой строке по черной книжке даю тебе заповедь, храни и береги. Коли потеряешь — сойдешь с ума, попадешь прямо за тридевять земель, в тридесятое царство, которому я служу и верую, когда снимаю крест и пояс.

Падите, мои слова ключевые, крепче укладу и булату, вострей вострого ножа на рабу божью Валентину.

Замок — в поле, ключ — в море. Печать. Аминь».

На другой день оставили мы веселые берега Сарамбая и переехали в верховья другой реки — Талаты. Воркутинская лодка в последний раз забралась на нарты и проехала на легкой подводе. Ехали мы новыми, незнакомыми местами. На болотах стояла самая ягодная пора. Низенькие кусты голубельника посинели от ягод. Морошка только что дошла до полного налива. Краснобокая брусника — самая поздняя ягода — тоже вызрела и стала тёмно-бурой. По нашим губам можно было заметить, в каких местах последний раз олени отдышали. Если стояли мы на подсухом месте, на какой-нибудь горбовинке — у всех и щеки, и губы, и зубы были в синюю краску выкрашены.

— Как с медведем целовались, — смеюсь я. — Медведь, он ягоду пуще меда любит. В тундре голубель, в наволоках смородина — для медведя царь-еда.



— Врешь, — говорит Спиридон. — Забыла ты вот эту ягоду.

И показывает на бурую большую ягоду, крупную, как черная смородина. Я, верно, забыла про нее. А была небольшой, не хуже медведя ее любила. Растет она на сухих, песчаных местах. Прямо из земли выходят четыре больших, продолговатых зеленых листика. Летом между листиками зацветает желтенький цветок, а потом листики побуреют, и на месте цветка ягода вызревает. И зовут эту ягоду — медвежья.

Над большими озерами утки да гуси подлетывали и кружили целыми семьями. В ту пору птица учит летать детей. Утята да гусенята отстают от отцов да матерей, и тем приходится не торопиться: крыльем машут редко, летят тихо, с оглядкой. В это время хорошо их в лёт стрелять.

9

Талата в сарамбайские ручьи годилась. Узкая, но глубокая Талата вилась по тундре зачертями и завитухами, как звериный волочень. Когда зверь попадет в капкан, иногда он сорвет его с якорей и волочится вместе с ним по тундре, без ума от боли, крутится и петляет по кустам, оставляя глубокий след-волочень. Идешь по нему и не знаешь, куда волочень тянется через два шага: бросится в сторону, выпишет ли «мыслете» али сделает петлю.

Устали мы за дорогу и ничем не отметили свое новоселье на Талате. На первой стоянке перегнал нас ненец из колхоза «Тят-Яга-Мал», по-русски — «Исток четырех рек». Сейчас он ехал зачем-то из Янгарея на Синькин Нос.

Ненец поговорил о чем-то с Петрей, и заносят они в палатку какой-то сверток, а на свертке надпись:

«Тундра. Северо-хетская экспедиция, рабочему Костину».

— Откуда это? С неба, что ли, свалилось? — удивляется Саша.

— Распечатывай — увидим, — торопит Ия Николаевна.

В свертке оказались бинты, вата, йод, марганцовка и все, что было нужно для операции.

— Откуда это? — спрашиваю я ненца.

— Из Янгарея, — говорит он. — Самолет из Москвы прилетел. Доктора привозил.

Вычислили мы с ним тот день, когда прилетал самолет. Получилось, что в Янгарею он был на другой день после отъезда Леонтьева с Сашей из Янгарея. Прилетел доктор, чтобы Саше операцию сделать, никого не застал, оставил вот эту посылку и улетел обратно. И в самом деле — самолет был послан из Москвы Севморпутем, только позже срока: радиотелеграмма Леонтьева в дороге опоздала.

— Это для Сашки Сталин прислал? — догадывается Петря.

— Сталин, — говорю.

— Самолет-то над тундрой не редко же летает. У нас, у ненцев, и загадка про него сложена: «Тирте миге тогода ни мазара» — «Птица летит, а крылья не шевелятся». А что, Романовна, у Сталина это все один самолет летает?

— Что ты, Петря, — говорю, — у него самолетов большое стадо в небе пасется.

— Больше, чем наше?..

— Сказал тоже: наше... Больше, чем стадо в «Кара-Харбее».

Саша глянул на Спиридона.

— Что же ты, седой чорт, мне напевал? «Не полетят... Там тысячи гибнут... Где уж Сашке самолет». И горячее на фронте время, а про меня, простого рабочего... Сашку Костина... на краю земли... помнят...

И Саша заплакал.

Спиридон и хвост поджал, молчит. И мне перед Сашей неловко: я ведь тоже со Спиридоном соглашалась. И стыдно мне за свою ошибку, будто я родной матери в чем-то не поверила, а та меня не словами, а делом пристыдила.

— Далеко мы заехали, — говорю я Саше. — Ведь края-то здесь полуночные. Где-то рядом, около нас, моря ледовитые — Баренцево море с Карским — стыкаются, холод

на холод прибавляют. Когда с тобой болезнь приключилась, думала я, тоже, грешным делом, что голосу нашего не услышат, руку до нас не дотянут, светом дневным не осветят, живым теплом не обогреют. А, выходит, ошибку дала. У родной земли-матери долга рука на ласку: много у ней и света, и тепла, и сердечной жалости.

Далеко мы заехали, а родина-мать рядом, и все мы у ней под правым крылом у жаркого сердцагреемся. Партияда Сталин-отец не толькоо живыхзаботится, а имертвыхне забывает.

— А мне еще жить велят, — говорит Саша. — На фронте я свое дело сделал и здесь, в тылу, своих рук не сложу: увечные они, а дела просят. Думаю, что из экспедиций я теперь никуда перескакивать не буду: тяжело здесь, а тяжесть эта хорошая. Да и от Спиридона мне как-то стыдно отставать.

— В чем отставать?

— Да вот он веру-то свою сменил, а я все еще старовер какой-то. Надо и мне попытаться: судьба надо мной командует али я над ней. А в экспедициях испытать это легче: Спиридона-то экспедиция образовала. Вот нефть найдем, на Чукотку поеду. Найдем ведь, Ия Николаевна? — спрашивает он начальницу.

Искали мы коренные породы, как ищут дорогую потеряху: шарили по Талате да по встречным ручьям, рыскали по озерным берегам, забирались на каждую сопку, заглядывали в такие глухие места, куда и серый зверь не прорыскивает, и черный ворон не пролетывает. Мы уже ко всему привыкли — и к лодочной езде, и к тяжелой ходьбе.

Удивляла нас Валя. День-деньской бродила она то с Ией Николаевной по ручьям, то одна неведомо где, и каждый раз приносила свою сумочку с красным крестом, а в сумочке полно камней, ракушек и земли разных цветов. И каждый образец заботными руками в бумажку завернет.

— Откуда, — спрашиваю, — Валенька, у тебя эта заноза в сердце попала? Ногам ты ни отдыха, ни покоя не даешь, плечи каменной ношей трудишь, себя томишь. На твоём месте лежать бы всю дорогу, с нарт не сходя...

— А меня, — говорит, — увлекает это дело. Была я еще годов пяти, так с берега Двины все ракушки да камушки домой таскала. Ты вот думаешь, что я и сейчас из-за Саши к вам поехала, от болезни его караулить? Нет, Романовна. Тундру я поехала посмотреть. Не будь этого заделья — так бы и просидела я в Янгаре. Завезли меня туда прошлый год пароходом, и я никуда из Янгарея с тех пор не выглядывала, разве что на задворки за морошкой. Больных ненцы из тундры ко мне привозят, — для них у меня и палата есть, а ни за каким другим делом ездить не доводилось. Хотя теперь душу отведу, нахожусь да насмотрюсь. А что в камушках я немножко понимаю, говорит Валя, — так этому нас еще в семилетке учили. Учитель один чудной был, старенький, он математику преподавал, а геологию любил. Собрал он нас в кружок юных краеведов и летом да по выходным далеко по Двине водил. Нашли мы железо, нашли охру, нашли точильный камень. Потом писали об этом в «Пионерской правде». В войну думала я на фронт попасть, медицинскую школу прошла для этого, а меня вот куда послали.

Года два в Янгаре еще поработаю — говорит Валя, — и поеду учиться на геолога.

— Правильно, Валенька, — говорю я ей, — выбирай себе дорогу на всю жизнь, и чтобы всю жизнь она была тебе не в тягость. А землю свою высматривать, клады подземельные выискивать — доброе дело. Когда люди каждый шаг свой на деньги меряли, придумали они пословицу: домашняя копейка дороже отъезжего рубля. А рискованные, несидячие люди и в старину были. Деды наши в Ледовитое море, на Грумант хаживали, голыми там жили, еще и песню нам оставили:

Я с Печорой распростился,
Жить на Грумант покрутился.
Грумант-батюшка страшен,
Он горами изошел.
Жизнь на Груманте привольна,
Зверя, птиц было довольно.

А теперь над людьми вольный ветер прошел — любой край им подначален. Вот мы собрались, кто откуда — и с торку, и с борку, и с веретийки. Извели мы всячинки по капинки: и вешнее распустье, и олени у нас убежали, ехали да шли мы и рекой — сухой ногой, и лесом — парусом, и боли да хворости на нас нападали. А мы все как-то не назад, а вперед шли да шли. И реки, и озера, и леса, и кусты, и горки, и болота, — руки приложили, — все нам поддавалось да повинвалось. Вот нам бы до Синькина Носа клад заветный разыскать.

И рассказала ей ненецкую сказку про сундучок Тенеко.

— Вот я выучусь — обязательно разыщу, — говорит Валя.

Однажды прибегает она из тундры и кричит мне:

— Романовна! Нашла...

— Что нашла?

— Сундучок Тенеко.

— Врешь, Валя...

— Честное комсомольское... Нефть нашла. — По ручью я шла, — рассказывает Валя. — Верст за пять отсюда, вижу — над берегом болотце, а из болотца в ручей ручейки стекают. А в ручейках — чистая нефть. И в болоте тоже нефть.

Пошли мы туда пешком: оленей беспокоить не хотели. Синькин Нос хоть и поблизу от нас стоял — меньше сотни верст — оленей наших ждала еще далекая дорога до Воркуты.

Валя подвела нас к своей находке. Там, где текли ручейки, полосками сочилась нефть. И на болотце прошли. Вода на нем была покрыта какой-то жирной пленочкой. На солнце пленочка, как радуга, всеми цветами переливается.

— Вот, смотрите все, — говорит нам Ия Николаевна. — Сейчас я проведу по этой пленке пальцем. Если пленка сразу вслед за пальцем снова сомкнется — это нефть. Если же пленка разобьется на кусочки да так и плавать будет, — это железная ржавчина.



Мы стояли и ждали, все жданки съели, и никакого терпения больше не хватало. Вот Ия Николаевна нагнулась и прочеркнула по воде пальцем. Пленка расступилась и больше не сошлась.

Вздохнули мы со всех плеч и к палатке пошли. А Валя шла далеко позади и, кажется, плакала...

День за днем пролетали в круглоденной работе да в копке, да во вздохах под вечер, когда обратно шли. Больше всех не пилось и не елось, не спалось и не сиделось начальнице, Леонтьеву и Саше. Затемно они уходили и затемно, ко спать-лягу приходили.

Иногда задержатся до полуночи, и не знаем мы — заблудились они али опоздали. Беру я тогда из костров головню, привяжу нагорелым концом к хорею и помахиваю в темень, только искры валятся. А Михайло еще стрелять начнет. Когда-некогда, слышим — и шлепают наши заброды по соседнему болоту.

После проволочной осени скоропостижно пришла в тундру зима. Сначала затянули свою лебединую песню лебеди на болотах. Мы с Валею не однажды любовались лебедями. На утренней заре стоят они, рослые, прямые, вытянут шеи и поют.

— Стоят как мужики, а поют как красны девки: певко и звонко.

Вот по утрам стал выпадать иней. Поднялись с озер утки-водоплавки и потянулись в полуденную сторону. За утками снялись в отлетную дорогу гуси. Перед отлетом гуси чутки да пугливы, и охотников наших они давно даже близко не подпускали. Да и некогда нам было за ними ползать: мы сами тоже к отлету готовились. В лёт их тоже было не взять: поднимались гуси высоко, под самые облака.

— Ко глубокому снегу высокой дорогой отлетают, — говорит Спиридон. — Весной низко летели, по примете — к сухой воде. Так и вышло: Коротайку летом вброд бродили.

За гусями и лебеди свой черед знают. Как гуси и как утки, лебеди тоже летели семьями: два-три старших лебедя впереди, два-три — по бокам, а в середине лебедята.

Покукивают лебеди сызредка, с распевом, будто прощаются. А над тундрой самый расцветный час, самая красивая пора: утренняя заря уходит не хочет, все шире и шире расходится, а солнце заспалось и задержалось на минутку.

— Вставайте, засони! — кричу я Вале и Спиридону. Лебеди вон — и те знают, что раннего мороз не бьет.

А лебедям да гусям кричу вдогонку:

— Бог на помочь, гуси-лебеди! В теплые места летите, зиму проводите да и опять сюда, на свою родину, прилетайте, нас не забывайте.

— И шуба на них добрая, а все еще тепла ищут, — говорю я Спиридону.

— Ноги-то ведь у них босые. А без пимов здесь не проживешь.

В этот день наша востроносая воркутинская лодка проскочила тундровые низкие берега и заплыла в высокие каменные щелья. Как две стены, подымались берега по обе стороны лодки. Оба берега сверху донизу были из камня выложены, и только с самого верха тонкой боровиной с кустами да ягодниками, как цветным половиком, закрыты.

— Коренные породы! — кричит Ия Николаевна.

— Коренные породы! — кричим мы все в один голос.

Лодка пристала к левому берегу. Саша отбил молотком от скалы кусок камня. Ия Николаевна сама понюхала камень и всем нам дает нюхать. И все мы переглядываемся и в один голос говорим:

— Нефть!..

Дождались мы Петрю и Михайлу с Татьяной: они ехали оленями и везли все наше имущество берегом, пересекая носки от лахты к лахте. Отбили от берега еще камушек и еще из другого места образец, и дали оленщикам нюхать. От носа к носу камни заходили, друг на друга они глаза заподымали и тоже в один голос говорят:

— Карасин!

Ия Николаевна решила здесь дневать, чтобы образцы собрать, все в свои записи занести. А потом уже сплывать вниз, до устья Талаты, оставалось еще километров сорок. Я крепко начальницу попросила:

— Ия Николаевна, послужила я тебе верой-правдой. А теперь мои сроки выходят: вон и лебеди сегодня улетели. Скоро поднимутся в путь-дорогу и последние заморозные птицы — гагара с чайкой. Пора и мне о зимнем гнезде подумать, в Нарьян-Мар попадать. Там птенцы мои заждались, небось...

Книгу мою мы с Николаем Павловичем между делами закончили. Нефть, наш клад заветный, мы тоже разыскали. Остаток вашей дороги как-нибудь и без меня доедете. А мне надо торопиться. На Синькин Нос в эту пору пароходы да бота ходят. Вот бы мне их застать, — у меня было бы всего три дня дороги. А вам я руки-ноги свяжу, и мне зимний путь в тягость. А морем-то я проскочила бы, как лычко из рогожки удернула бы.

Согласилась начальница. Провожать меня она отправила Спиридона. Распрощалась я со всеми и поехала последней оленьей дорогой к недалекому концу оленьих краев. Третьим за нами увязался Петрин пес Черный.

То ли память Спиридону изменила, то ли он соснул лишнее, на нартах сидя, только к морю мы выехали не туда, куда намечали, — не к Синькину Носу, а не то правее его, не то левее, сами не знаем куда. На самом краю Большой Земли, куда в часы прилива заплескивает брызги студеная морская волна, мы и заночевали.

От расстройства да от беспутницы не спала я целую ночь. И целую ночь глядела я, как в небе играли в свою затейливую игру первые за эту зиму сполохи. Со Спиридоном мы размолвились и за всю ночь между собой слова не сказали.

Утром, когда звезды пробежали свой путь по небу, как овцы по калинову мосту, увидели зарю и бросились в синее море. Спиридон повернул оленей направо и поехал край моря.

— Откуда ты взял, что вправо ехать надо? — спрашиваю я Спиридона. — На камне придорожном, что ли, прочитал?

— Звезды сказали, — говорит Спиридон, и по голосу я слышу, что Спиридон уже не сердится.

Весь день ехали мы вдоль моря. Изредка встречались промысловые избушки, но никого в них не было: охотники приходили сюда промыслять песка только в начале ноября. А места мы проезжали самые песцовые. Сколько раз песцы выпрыгивали из-под самых оленьих ног. Черный гонял их по тундре, пока сам не уставал до полусмерти. А поймать он их не мог: песцы увертливы. В одном месте я набрела на песка. Он спал под кустом и был похож на грудку снега. Узнала я его, когда к самому кусту подошла. Только хотела я нагнуться и схватить его за хвост — песец прыгнул, остановился в двух шагах от меня, оглянулся, осмотрелся и дальше поскакал.

В Синькин Нос мы попали поздно вечером. На рейде стоял и блестел огнями паровой бот из Нарьян-Мара. Утром он собирался отплывать.

Синькин Нос стоит на самом морском берегу, у края Хайпудырской губы. Три домика да баня, да склады, — вот и весь поселок.

Остановились мы у моего знакомого Степана Кожевина, он заведывал промыслово-охотничьей станцией Синькин Нос. Недавно у него погибла дочь Шура. Работала она радисткой на боте «Выучейский». Когда бот вышел в море, настигла его немецкая подводная лодка. Выстала она рядом с ботом, в упор расстреляла пассажиров, а бот потопила. Он уже ко дну шел, а Шура все еще сигналы дает. Так и в воду ушла Шура, а поста своего не бросила.

Кроме Степана, на Синькинском Носу жило две ненецких семьи, двое русских охотников-мезенцев с семьями, пекариха Дарья, магазинщица Нина и радистка Маша, семнадцатилетняя девочка. Маша только что окончила курсы, а рация у ней была старенькая, и связь часто терялась: то Маша не слышит Нарьян-Мар, то Нарьян-Мар Машу.

Ну, да в тундре и без радио вести круто летят. На Синькинском Носу еще месяц назад слышали, что к ним идет экспедиция, нефть ищет. Ждали они нас, как большого праздника. Не успели мы со Спиридоном с оленей сойти, сбежались люди, спрашивают:

— Нашли нефть?

Спиридон оглядел всех, бороду огладил и, как самый главный геолог, говорит:

— Коренные породы нашли. Карасином так и разит.

— Где?

Рассказал Спиридон, а потом вынул из карманов два камня, постучал их друг о друга и дает им всем нюхать. Заохали люди, заохали, головами закачали. А Спиридон ругается.

— Вы, — говорит, — небось, карасин-то морем возите, а он у вас под боком. Худые вы хозяева...

Степан смеется.

— Ну, — говорит, — нынче гости хозяев ругачкой встречают.

Повел он нас к себе в дом, угощает рыбой своего улова, куропатками со своеручной охоты. А сам о чем ни заговорит, к той же нефти клонит. И все про коренные породы выспрашивает: какие они да в каком месте мы их нашли. А Спиридон, будто бы всю жизнь геологом был, отвечает толково, с умом.

Выслушал его Степан, как ребятишки учителей слушают, да тут же и учителя своего удивил:

— Я, — говорит, — тоже такое место знаю, где камень наверх выходит. Бывает, и там нефть найдется.

Да, недолго думая, взял Степан у какого-то заезжего ненца оленей и за ночь обернулся взад-вперед¹. Привез он с собой два такие же камня, как и у Спиридона были: ударишь их друг о друга — и нефтью запахнет.

Теперь и Спиридон за ученика стал.

— Где ты их взял? — спрашивает.

И рассказал нам Степан, что годов десять назад ехал он ночью по тундре и задремал. И показалось ему, что полозом где-то за камень задело. Совсем он было прозабыл этот случай, а вот теперь вспомнил. И место это Каменная сопка называется, по ненецки Пэ-Соте-Мыльк.

¹ Взад-вперед — туда и обратно.

— Быть здесь городу, — говорит Кожевин. — Я здесь под поселок место выбирал, да, видно, мне и под город выбирать место придется.

— Городом запахло... — соглашается Спиридон.

— Вот, — говорю я, — мы и нашли клад заветный. С Воркуты-то вон куда сундучок Тенеко упрятался, за тысячу верст. А мы в розысках чуть не все две тысячи избродили. Ближко время, откроют люди сундучок — и выйдет оттуда город...

— Откроют! — кричит Спиридон.

— Выйдет, — басит Степан.

И все мы довольны: не пройдут наши труды занапрасно.

Первое наше слово к свежим людям на Синькином Носу было о фронте:

— Как там дела? Кто кого бьет? Три месяца по тундре путешествуем, ничего не знаем.

Рассказали нам, что немец все дальше к своему концу катится, а мы все больше сталинской крепостью крепнем.

Вот и утро пришло. Сажусь я в лодку на бот ехать, а Спиридон меня провожает. И вижу я, что хочет он на прощанье что-нибудь особенное мне сказать: или мудрость премудрую, или уж такую чудовинку учудить, чтобы она мне навек запомнилась. И говорит мне:

— Знаешь что, Романовна? Вот Гитлер со всей оравой гитлерячьей, с гитлерятами и с гитлеренышами, хотел было землю нашу под меч выклонить, силу нашу рушить, путь-дорогу сменить.

И знаешь, землячка, думается мне: мог он житье наше, умом высветленное, мог своим безумьем без чернил зачернить. Мог и силу нашу золоторукою своей поганой силой сломить...

Помолчал Спиридон с минутой. На меня он смотрит, а глаза лукавство мечут. И еще раз говорит:

— Мог!

И опять молчит и лукаво на меня поглядывает. А потом досказывает, а сам рукой машет, как топором с плеча рубит:

— А Правду, звезду нашу путеводную, и тогда бы ему не потушить! Такие звезды не гаснут...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Каждый год из Москвы, Ленинграда, Мурманска, Архангельска, Красноярска, Владивостока по нетореным путям-дорогам отправляются экспедиции в наши оленьи края. В розысках заветных кладов, ухороненных в матушке-тундре, экспедиции ходят по оленьим тропам, вдоль раздольных северных рек, по край моря, по широким нашим междуречьям. Роются они в речных окатах да осыпях, выбирают нужные приметные камни, пробуют их и на глаз, и на зуб, и на вкус, и на нюх, и на ощупь. И что пригодно людям на потребу, — пишат в свои ученые книги и везут в город на посмотренье. И в таких местах, как из сказочного сундучка ненецкого богатыря-волшебника Тенеко, выходят на белый свет советские заполярные города.

Есть люди, у которых всю жизнь ноги гудят, а глаза свербят, ко край-небу тянутся. Дума у них простора просит, душа — разворота, руки готовы весь мир обнять, — весь мир шагами измерить. По домам да и по избам не сидячим в спокойном житье — беспокойно их сердцу. А выйдет такой непоседа на нехоженые пути-дороги, там шаг ступить, как против воды по реке проплыть, спокойства там и в помине нет, — а ему это и любо: глаза полны и душа рада. И тут, где он в работе как в котле кипит, среди всякой погибели и дорожного неустройства, находит покой бродяжное его сердце. Из таких людей, по-моему, и выходят летчики да мореходцы, геологи да рудознатцы.



Садко и сладко хвощет по лицу шальной ветер на широком месте, будто веник в бане. А ты идешь не супротив ветру и под ноги его подминаешь. В путях да дорогах все на тебя ополчится: и воды, и горы, и всякие напасти.

А ты лишний страх откинешь да могуту свою на смекалке женишь, да упрямку со сноровкой породнишь — и все тебе станет подначально. И утешно тебе: в полную силу работаешь, будто в полный голос песню поешь. Да коли с товарищами своими спелся, работа и вовсе как песня льется — на разные голоса, а стройно. И кто от младости изведал горькую усладу путей да дорог, тот до старости не сменяет ее на любую сладость оседлого житья.

Много таких рискованных, путедорожных людей ходит с экспедициями по нашему северу, и про каждого писать — одной книги мало. И этой книги мало для всех дел моих ученых и неученых подпарщиков, что бродили вместе со мной по нехоженным краям Большеземельской тундры. Рассказывала я, как могла, про однолетнюю работу одного отряда одной экспедиции Главсевморпути. А ведь в этой экспедиции еще два отряда было: один — с начальником экспедиции, с Донатом Константиновичем Александровым, ходил, другой — с Женей Каменевой. Как они забирались в верховья Воркуты, Подымей-вис и Тар-Ю, как обшарили в этих местах все берега рек и межозерья, как попадали со своей лодкой в настоящие водопады, как отыскивали коренные породы там, где их и находить не думали, — про все это в одной книжке не расскажешь.

Скажу только, что после этих наших находок взял Донат Константинович карту, прочертил по белому месту трехрядную черту и говорит:

— Мы открыли подземный горный хребет. Раньше его здесь не значилось.

Неправильных слов он не говорил: за эту находку да за новые нефтяные места Александрова с геологами Москва премировала.

Целую книгу можно рассказать про то, как без меня ехал наш отряд в обратную дорогу. От Синькина Носа Ия Николаевна, Леонтьев и Саша Костин в тяжелую осеннюю распуту едва добрались до Хоседа-Харда за три недели.

В клубе писателей в Москве, когда читали отрывки из этой моей повести, встретила я свою бывшую начальницу. Подошла она ко мне после читки и говорит:

— Быль никому не в укор. А вот не знаешь ты, Романовна, как мы из Хоседа-Харда до Воркуты добирались.

— Как это, — говорю, — не знаю?... Кому Ригушка неизведана, а мне, молодцу, напрокучила. Всю вешнюю беспутицу по тем путям-дорогам прошла.

— А мы — в пургу да в морозы.

Стояли мы вдвоем посреди светлого, теплого зала, а сердце у каждого в ту минуту было на далеком севере, среди наших тундровых друзей. И очень нам хотелось, чтобы наши пути-дороги еще раз сошлись.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Часть первая	
По следам сказок.....	7
Часть вторая	
Рекой – сухой ногой, лесом – парусом.....	140
Часть третья	
В розысках заветного клада.....	221
Послесловие.....	295



ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа»

166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом 20 А,
телефон 8(81853)2-16-92, электронный адрес etnonao@mail.ru

Издание финансируется из средств бюджета Ненецкого автономного округа
в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие культуры»

УДК 891.71-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Г62

Оленьи края: повесть / Маремьяна Голубкова, Николай Леонтьев – Воронеж:
ООО «АЛЕКС ПРИНТ», 2023. – 300 с. : 22 ил.

ISBN

Литературно-художественное издание для широкого круга читателей
Маремьяна Голубкова, Николай Леонтьев
Оленьи края

Редакторы Е.И. Вергунова, Н.Ю. Чечуева
Художник И.М. Селиверстова
Макет ООО «АЛЕКС ПРИНТ»

6+

Подписано в печать
Формат 222х202 Бумага мелованная
Уч.-изд.л. Тираж 1000 экз. Отпечатано в ООО «АЛЕКС ПРИНТ».
394007, г. Воронеж, Ленинский проспект д. 94/5, кв. 52